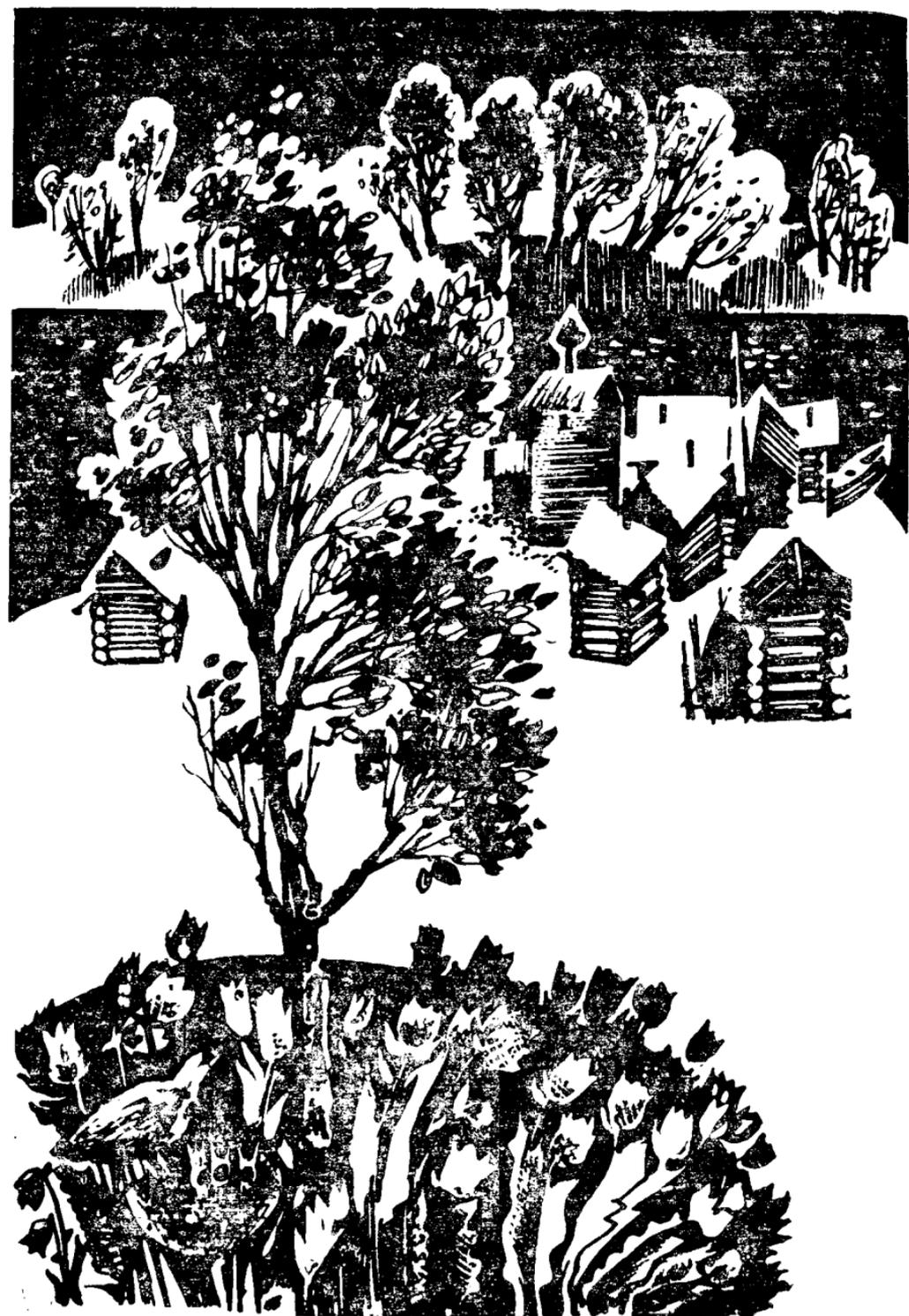


О МОЁМ ОТЦЕ





ВОСПОМИНАНИЯ врываются в жизнь неожиданно, застают врасплох, заставляют прислушиваться к твоему мнению, стараться поступать так, чтобы не было стыдно перед тобой, отец. Как если бы надо было тебе в глаза смотреть. Словно ты все видишь, и я знаю, когда ты согласен со мной, когда нет. И я ничего не боюсь — я знаю: ты со мной, с нами. Трудно мы жили, бурно. И радостно и печально. Не всегда понимали друг друга, но всегда любили. И в детстве, радуясь нашей тяге друг к другу, мама писала мне: «Хорошо, что ты дружишь с папой, — он чудо. Будешь повзрослее, и сама в этом убедишься». И вот я убедилась. Я только-только доросла до тебя, а тебя нет...

Наплывают иногда какие-то воспоминания, обрывки воспоминаний. Что это? Самые яркие впечатления? Почему именно это, незначительное, запомнилось, а другое, может быть, самое важное, — нет?

Я рассказываю брату Мише: «В шесть лет я ездила с папой в Одессу. Помню, что ехали мы в международном вагоне, в соседнем купе с доктором Филатовым. Помню, что в купе был умывальник. Видимо, потому, что на это обращал внимание папа. В Одессе было темно, холодно, зябко. Мы шли к театру по вечерней улице со множеством всяких вывесок. Папа рассказывал мне тогда, что под театр были подложены немецкие мины, что моряки спасли его от взрыва...

Совершенно не помню содержания пьесы. Помню, что хотела спать. Помню, что дамы были в настоящих вечерних платьях до полу...»

Я рассказываю Мишке, и он говорит: «А я ничего не помню, как я был в Ялте. Только помню, как я сидел на стене — на парапете. Папа меня держал: я перегнулся и поднял камушек, потом папа вытащил меня за руки обратно».

Как будто свет зажигается вдруг там, где вздумается памяти, и освещает детали, а осталь-

ное в полутьме. Потом гаснет и загорается в другом месте, освещает...

* * *

Река Юг в снегу. От деревьев тени по реке вытянулись и верхушки елок отчетливо видны. Тропинка наша идет через реку, наискосок, чтобы можно было удобно спуститься и подняться на другой берег. И тени наши поднимаются в гору, пристраиваются к теням от елочек, проходят мимо.

— Саня, это кто там идет? — спрашиваю я папину сестру.

Саня посмотрела на свое отражение в снегу и сказала:

— А не знаю кто. Какая-то тетка в снегу куврырается. — И она, смеясь, помахала рукой своей тени, а тень ей в ответ помахала.

Мы идем из деревни Скочково, где живет папина родня со стороны матери. Там до сих пор стоит дом его прадеда. Идем в родную деревню отца через лес, через речку, мимо его могилы. Вышли из-под березы, из-под веточек на поляну, на солнце. Елка сосну обвила так, что только верхушка от сосны торчит. Елки тоже бывают плакучие. Сосны рыжие, как лисы. Стволы у берез тоненькие и согнулись все дугами от снега, от мороза склонились. А одна елка стоит, растопырив ветки, как чучело. Ветви редко друг от друга, иголки на них мелкие, маленькие, как бахромочка.

Иногда целые участки густо утоптаны, в следах — зайцы танцевали. А в лесу снег глубокий. Идем медленно, смотрим по сторонам, любимся. Птица какая-то запела, и совсем радостно стало. Саня рассказывает, что весной птичек много: «Поточки весной поют. Красиво! Идешь по лесу, а они чивирикают всяким разным голоскам. Каких только голосков и нет!»

И ты просто диву даешься: как человек, всю жизнь, изо дня в день проведенный в этих лесах, полях, оказывается, не привык, не притупел к этой красоте, а видит ее и чувствует, может быть, больше тебя, которому все это впервые. Не просто проходит через лес, а все замечает вокруг, замечает времена года, чего мы в городе почти не видим, разве что чувствуем, хо-

лодно или жарко нам. Попробуй отними у нее это — стоскуется сердце. Такая вольность вокруг, необозримость...

«А на Бобришный осенью придешь — все в листьях. На деревьях листьев поменьше, чем на земле, только в крапинку, и видно далеко реку, луга. По реке листья плывут. Так бы и стоял тут век.» — Саяня говорит.

Все участки по реке Юг называются по-разному. Есть Глубокое, Баданиха, Своя Река, Бобришный Угор — где стоят домик и могила отца. А за ними начинается удивительный «Чистый Бор». Здесь живут глухари, тетерева. Когда попадаешь в этот бор, понимаешь, почему он так назван. Прямые гладкие стволы — как выстрелы из-под земли. Где-то наверху темные кроны деревьев — своды сосен. А внизу белый, чуть-чуть светло-зеленый, светлый сухой мох ковром и брусничник на нем. Летом идешь по Бору, по песчаной белой дороге, и тебе среди этих сосен и мхов светло и чисто. А сейчас на снегу рассыпаны сосновые иглы.

Идем с Саней дорогой, по которой с папой ходили. Папа старался объяснить мне красоту края, обаяние здешних грубоватых людей, особенность деревенской жизни, старался приобщить меня к своей родине.

Папина могила в снегу. Еще стоит крест (позже его убрали и поставили звездочку). Крест сделали мужики в один день: сверху две доски прибиты, как крыша — такой называется на севере жальник. Большой жальник.

Папин дом, оставленный им, промерзший. Такой, что мы выбежали на улицу греться. Прошло полгода после смерти. Снег выравнивал землю около домика. Чисто, тихо.

В жилую избу входишь — и мороз облаком за тобой. Идешь к печке. Дым в ней стелется завесой. Можно без конца смотреть на горящие дрова: как они там сложены поленицей и как им свободно гореть в полукруге печного свода. И сама печка — целое государство. Ее удивительная архитектура, скульптурность. Вся изба, вся жизнь деревенских людей вокруг печки.

А в папином доме холодно. Саня по-хозяйски переставила в угол диковинные корни, сучки, которые папа принес из леса. Не мог он приходить из него пустой. Корягу красивую, цветок, а принесет. И всегда с удивлением, с радостью, с чувством неповторимого показывал он нам жучка, птицу, прилетевшую к нам на участок. Первое, что он делал — звал других посмотреть на чудо. Возвратившись с прогулки, обыкновенно садился, записывал виденное, слышанное, всякие мелочи казались ему важными и наша реакция тоже. И даже если мы уже видели такую птицу раньше, он показывал ее так, что она становилась невиданной до этой минуты.

И удивителен этот путь, пройденный отцом от мальчишки, который шел по своим родным лесам, махал топором направо, налево, делал зарубки, ранил стволы. От избытка леса, от избытка своих сил. До человека, который шел теперь по лесу без ружья, без топора и расправлял каждый листочек, травинку.

Отец любил одаривать друзей лесными подарками. В одном доме мы были вместе с поэтом Боковым и его сыном. Сын увидел на полке причудливый гриб-нарост, какие бывают на березах. Когда ему предложили взять себе в подарок этот гриб, он отказался: «Я его возьму, и он мне надоест. А так у меня останется от него впечатление». Я обратилась к Бокову: «А вот вы, Виктор Федорович, так не скажете, вы возьмете». «Конечно», — ответил Боков, забирая гриб. «Ничего! — сказал хозяин дома. — Нам Яшин еще лучше подарит. У него их много».

Вот и на Бобришном Угоре, в этом доме, на окне лежат лесные чаги. Сели на лавку у холодной печки. Выпили, что захватили с собой. Подошли какие-то мужики. Родственники или нет? Принесли вермут. Это старый русский обычай поминать умершего на могиле: «Будь здоров, Саша!»

Здесь во многих деревнях знали отца. И при его жизни из разных мест приезжали к нам знакомые и незнакомые земляки. То за помощью — в больницу кого-то устроить, то еще что-нибудь. Часто раздавался звонок в квартире, и незнакомый человек со словами: «Яшин здесь живет?» входил к нам и считал за родственников.

Впервые открыл нам, детям, поэзию деревни папа. «Жить в России — и не знать деревни!» — сказал он и отвез нас к себе в деревню. Но без него мы столкнулись с грубостью, руганью, неудобствами, испугавшими нас. Где нам, городским детям, сразу было понять после ванны прелесть черной бани! В деревне я услышала пословицу: «Бранное слово рождается в ругани». Но ругань-то у деревенских людей большей частью ничего не значащая, добродушная. Пересыпают слова, как перцем, для остроты. Поначалу все это оттолкнуло. Как только я впервые приехала в деревню, я взяла книжку, плед и пошла в лес полежать, почитать, пометать. Вскоре я неслась обратно, не разбирая дороги, не помня себя, перелезая через ограды — «огороды». Так заели комары и оводы. До сих пор не по себе, как вспомню, но постепенно за этой мошкаркой разглядела лес, грибы, ягоды. Так и в деревне, в ее людях не сразу увидела самобытность, удивительную широту и талантливость.

Сидим у папы в домике на Угоре. Я думаю: как отец всегда умел находить общий язык и с лесорубами и с академиками. Как он, попадая даже в незнакомую компанию, незаметно подчинял себе внимание людей, и все слушали его с интересом. Удивительно умел найти какую-то необыкновенную значительность в ничего не значащем случае.

Помню папину радостную реакцию на смешное, его смех взახлеб, взახлест. Заразительность смеха.

Вспыльчив был, неровен. Смена настроений. Никогда не знаешь, чего ждать. Но неожиданность его улыбки покоряла, ставила все на свои места, все прощалось. У папы все лицо улыбалось: глаза, брови, нос, губы — весь улыбался.

Как-то к нам в Москве неожиданно пришли гости. Застали врасплох. Дома была только рыба — угощать нечем. И папа придумал: поставил на стол свою рыбацкую треногу, повесил котелок, и уху ели из котелка, который раскачивался над круглым столом в комнате. Было вкусно, весело, празднично.

Вот сейчас сидим на Бобришном, поминаем папу. Кто что может, тот и рассказывает, вспоминает. Кажется, не только березы поскрипывают от мороза, но и крест на могиле. Летом же все в зелени, в листьях.

Высоко на берегу стоишь, и сквозь листья, сквозь ветви деревьев — небо, река, берег, луга, отмели, леса. Чудо какое! Как вздохнуть пришел сюда. Помню, как папина тетька, Анна, в день похорон повернулась к реке от раскрытой могилы, посмотрела кругом и, одобряя выбранное место, сказала: «Сколь ни весело лежать здесь будет, Шура!» Этим простым деревенским людям не безразлично, где быть похороненным. Самую хорошую одежду старушки готовят «на смерть». Со старанием мужики устраивали могилу, чтобы сухо было, чтобы вода не затекла.

О Бобришном Угоре отец писал: «Бобришным Угором я сейчас называю не только облюбванное с детства место в лесу над рекой, где теперь стоит мой охотничий дом, но уже и деревню Блудново, в которой я родился, и район, и город Никольск, где началась моя сознательная жизнь, и вообще Родину. Вся Родина моя — Бобришный Угор. Поззия — тоже он. Завершение моей жизни на Бобришном Угоре».

И как он волновался, поддержит его колхоз или нет с его затеей выстроить себе дом на Угоре, в котором он будет работать: «А как он (председатель колхоза) может не согласиться — колхоз-то ведь «мой». Здесь я родился и вырос и кроме пользы от меня никому ничего не было. Я не только стихи всю жизнь об этом колхозе пишу, но делал для него кое-что и более серьезное: после войны в Москве через Министерство сельского хозяйства доставал строительные гвозди, которые тогда ценились на вес золота; однажды помог приобрести грузовую машину, а это уже несколько десятков лошадиных сил, а не какие-то там не всем понятные рифмы».

Ему представлялось несложным поставить в лесу избу. Это был бы домик поэта. Он мечтал там работать как нигде и никогда.

У могилы столик, который делал сам отец. Два года назад он, улыбаясь, завещал бабушке, своей матери, закопать его вот здесь, под березами. Бабушка сначала обиделась — мол, как это он, ее сын, а думает умереть раньше ее, ей наказывает, где его хоронить. «Нечередом выходит!» — возразила она. А потом деловито добавила: «Не здесь, а вот здесь». Она показала место рядом, в двух шагах от того, которое заметил

отец. «Почему?» — спросил он. «Копать трудно будет! Корней много!»

Говорят, папа в младенчестве был таким крикуном, что наша бабушка бегала с ним на руках за домами по огородам, чтобы уговорить, утихомирить сына.

Я вспомнила, как моя мама вызвала бабушку на свидание к больному папе-сыну. Трудно в семьдесят пять лет трогаться с места, ехать бог знает куда. Но она приехала. Мы с братом Мишей встречали ее на вокзале: входим в вагон — пусто, пассажиры уже ушли. Вдруг из купе выходит бабушка: и не выходит, а выдвигается. Я даже не сразу поняла, что это она, не узнала, отвыкла. Такая старенькая, ссохшаяся, сгорбленная, согнутая. Руки съезжились, скрючились, глаза слезятся. В руках бидончик с брусникой, маленький узел, чтоб не тяжело было. Так странно было видеть ее среди пустых бесчисленных полок вагона. Я даже испугалась, что сердилась на нее за то, что она так долго не ехала.

На следующий день мы привезли ее к пансе, привели в палату.

— Мамочка! Родная моя! Приехала! — папа протянул руки к своей матери.

— Сыночек мой, — проплакала бабушка, вытирая слезы передником. Они обнялись, поплакали. Говорили мало. Они точно уславливались о будущей встрече где-то там, только им понятно где. Они прощались. Папа просил бабушку не забывать нас, его семью, а нас — ее, его мать, его сестер.

Бабушка погостила у нас не долго, торопилась домой, в деревню. Боялась вдруг умереть так далеко от дома: в ее годы все может случиться. Она уезжала, попрощавшись с сыном, уезжала ждать его у себя на родине.

А мы каждый день навещаем папу. Мама круглые сутки не отходит от него. Мы носим передачи, сообщаем, кто звонил, кто просил привет передать. Разные люди писали, приходили. Знакомые и незнакомые; известные и совсем не известные.

«Милый Яшин, я тоже болен и поэтому не могу прийти к Вам сейчас, чтобы немножко утешить Вас.

Держитесь. Нас осталось мало — лес редет, и мы должны беречь себя и верить, что все будет хорошо.

Целую Вас, привет Злате Константиновне. *Ваш К. Паустовский*».

И слабая, еле разборчивая подпись Паустовского, который умер через три дня после папы. И письмо Твардовского, который и не собирался даже болеть тогда и которого уже нет.

С нами живет Саня. Она чаще всех родственников живет у нас. Папа был старшим братом Сани и когда-то нянчил ее. Поэтому он ей говорил: «Я тебя нянчил, теперь ты возись с моими детьми». И Саня возилась. И всегда все ее звали: «Санька, Санька». В деревне это естественно, и мы тоже: «Санька», попросту. И это было обыкновенно и для нас и для нее. И вдруг перед смертью папа всех просит: «Никогда не зовите больше Саню Санькой, только Санечкой». И прощение стал у нее просить. Саня залилась слезами. Круглая, толстая, добрая, вся в слезах наша Санечка, которая была с нами, пока бабушка не увезла ее с собой в деревню.

Я хожу в институт последние дни в этом году. У нас сдача проекта. «Сплошняк» второй день, а папе собираются на днях третью операцию делать.

Я в отчаяньи: «Сань, ты бы хоть помолилась!»

— Ох, Наташа, Наташа! В круте бога не умолишь! Как забрало!

— Саня, а что ты плачешь?

— У меня глаза-то на болоте выросли, дак я и плачу.

— Хочешь конфетку — легче станет! — наивно предлагаю я.

— А что, она меня от смерти, конфетка, спасет?

Саня зовет нас за стол, ужинать. Я около нее на кухне черчу. «Наташка, увольняйся со своими помазуйками, дай ради бога нам поесть». Саня подает нам оладьи: «За укус не секусь, а сваренó горячо». Нам сыто, спокойно, мирно около нашей тетки. И кошку она накормит: «Кошка, гляди-ко, съела кашку-то. Церемонилася, церемонилася и съела. На еще!» А к вечеру ляжет в комнате охая: «Устарухалась я!»

«Караул с вами, ребята!» — всплеснет руками Саня, если мы очень разбросаем все. «А это что?» — спрашивает она меня. «Это лак, ногти мазать. А у вас мажут?»

— Грязью у нас мажут, — говорит Саня. — Господи, помоги убежать! — с мольбой вдруг вздыхает она.

— Куда? — недоумеваю я.

— Да это пословица такая, поговорка, — спокойно отвечает Саня. И тут же, видя, как я режу хлеб, крошу его, сердито говорит мне: «Не терзай хлеб-то, не терзай!»

Если же придет из магазина, услышав там какой-нибудь скандал, долго возмущается: «Ну и мир сотворил бог-батюшка! Все ухают друг на друга, все на нервах сидят».

А про папу нашего, когда он вспылит, только и скажет: «Крутой он, Саша, больно крутой!»

И мы живем. Еще один близкий человек около нас, с нами в беде.

Иногда она плакала горестно, неутешно: «Хорошие люди умирают, а мне и смерти нетока».

* * *

Твоя последняя ночь... Мама полудремала напротив, прикорнув, измученная бесконечными бессонными ночами. А ты стонал: «Мама, мама!» Она вскакивала с красными испуганными глазами. Дежурный врач несколько раз приходил, что-то менял, делал уколы, просил его звать, если понадобится, и уходил.

Ты бредишь: «Не отдамся! Не отдамся!» Напрягаешь все свои силы.

Я сижу с папой последнюю ночь. Дежурю. И вдруг он начинает рассказывать о том, как мы поедем в Бахчисарай. Вот он встанет, и мы обязательно туда поедем.

Мне было десять лет. Мы всей семьей путешествовали по Крыму. Были в Бахчисарае. Ходили в горы, в монастырь Чуфут-Кале. Беспокоясь за мое сердце, папа не разрешил мне идти. Я послушно ждала всех обратно. Сидела на камне, под кустом, где меня посадили в тени. С моей страстью все увидеть я очень тяжело переживала это. Жизнь, казалось, была кончена. В ту же зиму папа написал мне письмо из Кисловодска:

«Любимая и родная моя Наташа! Нам с мамой очень понравилась твоя открытка, в которой ты пишешь, что не можешь доказать свою любовь к нам, по-

тому что у нас в семье мир и дружба, что тебе жалко, что открытки слишком малы. Нам все это так понравилось потому, что мы увидели, какое у тебя хорошее, доброе сердце и как сильно ты можешь любить и понимать любовь других и ценить ее. Мама даже поплакала немного, так была взволнована твоими душевными словами. Ей даже стало казаться, что мы сделали неправильно в Бахчисарае, когда не взяли тебя на гору в каменный пещерный город Чуфут-Кале. И ты, бедненькая, сидела одна, и ждала нас, и, наверно, боялась, поэтому мы, дескать, перед тобой все виноваты. А я, грешный, думаю, что мы сделали правильно, что пощадили, пожалели твое сердце. А особенно правильно сделала ты сама, что осталась, и не плакала, и ничего не боялась — показала себя настоящим человеком, а не капризной и сопливой девчонкой. Я думаю, что все это было хорошо и правильно. И зря мы раньше поговаривали, что у тебя дурной характер. Теперь, когда я по тебе очень тоскую, я думаю, что и характер у тебя отличный, справедливый и что ты всегда веселая, сердечная девочка. Издалека как-то все это лучше видно — сама понимаешь. А чтобы тебе не было обидно, что мы были в Чуфут-Кале, а ты не была, я тебе обещаю, что в этом же году, если мы поедem в Крым, а не в другое место, я специально для тебя поверну оглобли нашей «победы» в Бахчисарай, и мы все с утра, а не под вечер, как тогда, пойдem с тобой в этот каменный пещерный город. Я тебе клянусь в этом, только ты мне сама напомни потом о моем обещании. Вот так! Договорились?..»

Это письмо я нашла недавно, только что. Я забыла его. Пятнадцать лет прошло с тех пор, как меня не взяли в горный монастырь. Никто не помнил об этом обещании — ни я, ни папа. И вдруг в последнюю ночь своей жизни он то медленно, подробно рассказывает мне, то бредит, забывается, и снова говорит:

— И мы поедem в Бахчисарай. Ты, я и мама. И останавливаться будем в лучших гостиницах, чтобы удобно было. Мы заранее предупредим о своем приезде туда. Дадим телеграмму. Мы пойдem в горы. В Чуфут-Кале. Это монастырь такой в скале вырублен. Ты ведь тогда не ходила с нами. Ты сидела внизу у машины и ждала нас. У тебя тогда ревмокардит был.

А теперь ты здорова, и мы возьмем тебя с собой. Я ведь тебе обещал. Медленно пойдём, не спеша, везде побываем, все увидим. Как бы мы зажили хорошо! Скорей бы мне встать! Ах, как бы мы хорошо зажили!

Он снова зажмурился от боли, и стонал, и бредил Бахчисараем, стихами. Вспомнил свое старое стихотворение «Утром не умирают, утром живут, живут... Только бы до рассвета выдюжить как-нибудь...»

Тени в углах растают,
Тяжесть с души спадет.
Утром не умирают —
Солнце начнет обход!

Прошла эта ночь, наступило утро. Казалось, так и будет всегда. Я ушла, думая, что ещё будет тысяча ночей и утр. Когда-нибудь кончится все, но не скоро. А он через два часа после моего ухода умер.

Если б я хоть утром догадалась! Ведь поздно вечером меня вернула нянечка в больницу. Мы бежали по лестнице на пятый этаж, и она говорила, что началось кровотечение, что...

Смерть всегда неожиданна. Я позвонила из института и, почувствовав интонацию медсестры, спросила: «Все?» — «Да!» И оказалось, что я не готова к этому, ничего не знала про это, не ждала.

Я взяла такси, сказала куда ехать: «Каширское шоссе». Меня удивило, что шофер ничего не спросил, не любопытствовал. Хотя вид у меня был зареванный — слезы безостановочно, произвольно лились. Таксист не обратил внимания, а мне казалось, что весь мир сосредоточен на этом известии. Но люди ходили по улицам как ни в чем не бывало. В голове у меня сидели глупые, трезвые мысли: «Пожалуйста, быстрее! У меня там мама с мертвым папой. Надо убрать дома — народ придет...» Шофер по обыкновению взял деньги, не давая сдачи. И это я заметила — ужас какой!

В вестибюле я увидела Юдину, пианистку, давнего друга нашей семьи. Мария Вениаминовна сидела, как всегда, крепко, твердо, прочно, как за роялем. Колени ее до гола покрывала черная юбка ее бархатного единственного платья. Черные с проседью волосы спускались до плеч. В руках цветы. Сосредоточенность, зна-

чительность ее взгляда, выражение всей фигуры приковывало, подчиняло. Только когда она успела и где раздобыть цветы? Она сидела около мамы и тоже плакала! Долго плакать в больнице неудобно. Мы взяли папины вещи и ушли.

Мария Вениаминовна провожала нас тогда с папиным гробом до аэродрома. И уже, взлетев, из окна самолета мы видели, как среди травы стоит она в своем черном платье, с палкой. В сильном ветре, поднятом самолетом, развевались ее волосы, платье, волнами колыхался ее скорбный профиль, как в отражении воды.

* * *

«Такова жизнь», «Такова жизнь», «Такова жизнь» — слышно со всех сторон в Доме литераторов. Гражданская панихида. Люди, люди, лица, проплывающие перед глазами; грустные, торжественные, любопытные. Цветы, цветы — июль месяц. Музыка — Юдина играет. Включают репродуктор. Под музыку совсем невозможно сдержать слез. Почетный караул. Повязки на руках. Прощальные слова. Прощание. Заколачивание гроба. Стук. Мы торопимся на аэродром, торопятся летчики, которым предстоит посадить самолет на незнакомом аэродроме в городе Никольске Вологодской области до захода солнца. Папа просил его похоронить на родине, на Бобришном Угоре, у берез. Все это казалось диким, невозможным, нелепым — хоронить так далеко от нас, от Москвы, в глуши. Папина деревня находится в двадцати километрах от районного центра, расположенного в двухстах километрах от железной дороги. Самолетом надо лететь с пересадкой. Но все-таки мама и папины друзья хлопотали, и теперь в самолете посередине стоял гроб, а по бокам его сидели мы — родственники и друзья. Начало приходить в голову, что, видимо, это так нужно, что это и есть единственно возможное и правильное решение. Какое мудрое решение. Как он правильно понял и для нас и для себя это. Он подарил нам это путешествие с ним, оставил в наследство нам его родину, куда мы летим сейчас, куда мы будем теперь всю жизнь ездить, куда будет тянуть. Связал нас с собой. И странно: постепенно начали проходить наши нервозность, отчаяние и даже усталость. Мы лете-

ли с папой вместе. Держали все гроб при взлете. Вот мы летим над землей. В окне закат, земля в цветных квадратиках. Удивительное успокоение сошло в душу. Как человеку нужна земля! Видеть, ходить, лететь над ней! Только тогда он человек! В городе — служащий. И как нужна привязанность к земле, к дому, к родине, как важно, когда есть куда возвратиться человеку. И как важно после смерти близкого выполнить свой долг: его распоряжение, завещание, наказ. Мы даже улыбались друг другу в полете. Это было почти радостью. Мы были вместе.

В Никольск прилетели — были сумерки. Весь город встречал нас. Аэродром — поле, на котором стоят стога сена. Невдалеке лес темнеет. К самолету подошла толпа народа. И мы передали, переложили гроб на плечи подошедших людей, папиных земляков. «Наш Яшин», — говорили они и, несмотря на искреннее горе, чувствовалась гордость, что Яшин вернулся к ним. Так они это поняли. Завели музыку. И опять слезы полились неудержимо. Снова напряжение поселилось в душе.

Вереница райкомовских «газиков» двинулась сразу в деревню. Сказали, что бабушка просила, чтобы сын ночь пробыл в доме. Об этом просила и моя мама. Проехав несколько деревень, свернули с основного тракта в деревню Блудново. Три километра ехали ощупью. Дорога в рытвинах. Совсем стемнело. Первая машина освещала дорогу впереди всей колонны, а остальные машины — впереди себя. Наша машина освещает переднюю, в которой, покачиваясь на ухабах, едет гроб. Около него сидят папин двоюродный брат Станислав и писатель Василий Белов. Дорога в лесу часто поворачивает, и свет от фар выхватывает зелень, ветви, которые кажутся неестественно зелеными среди окружающей темноты. Иногда машины продираются сквозь ветви деревьев, и они царапают брезентовый верх, цепляясь за машину.

Так мы ехали — следом за папой, освещая его. Еще мостик, поворот, поле. Деревня темная. Электричества тогда еще не было там, провели только осенью, папа не дождался. У дома — вся деревня. И вдруг у меня все оцепенело внутри, ужас охватил: резкий, пронзительный крик, визг, плач вырвались из темной

двери дома... Причитания. Я схватила маму за руку — просто страшно стало, жутко, надрывно от реальности, от того, что случилось. Мама сказала мне, что так принято здесь. Чем громче крик, тем больше уважения к умершему. Но всем стало так не по себе, что, видимо, кто-то прервал этот вопль.

— Ждали! Ждали вас! — услышали мы.

В доме забегали. Гроб поставили на лавки. Открыли крышку. Зажгли керосиновые лампы, свечи. Бабушка села у гроба и почти всю ночь так просидела, вытирая глаза концами повязанного на голову платка.

Саня, плача, суетилась по хозяйству. Маня — папина сводная сестра, приехавшая из другой деревни на похороны, помогала ей. Но часто она останавливалась и начинала голосить, и Саня сердито, умоляюще, со слезами прикрикивала на нее: «Манька, не реви — делать ничего не могу!» И, правда, дыхание останавливалось от ее плача.

И опять поселились в душе уверенность и спокойствие, что все так и надо было сделать. Вот люди, которые делят с нами боль потери. Теперь нам нужна отвага жить. Потеря отца — это потеря больше чем друга, потеря надежного, честного, крупного человека, опоры. Но беззащитность и страх, охватившие меня, постепенно уходили перед желанием этих баб, мужиков выплакать с нами горе.

Утром приехали автобусы из города с людьми. Кто пришел из соседних деревень пешком, кто приехал — все прощались, подходили, целовали, крестились. Мужики у дома рубили крест. Днем все отправились хоронить. Деревня была запружена народом. Ни в один престольный праздник не бывало здесь столько.

Гроб несли на старинных вышитых полотенцах деревенские мужики и приехавшие из Москвы друзья. Бабы нарядились в старинные сарафаны с кофтами — парочки, обшитые лентами; несли венки, которые сами сплели из пихты и ромашек. Рядом бежали ребята со всего Блуднова.

Прошли деревню, поле высокой ржи, прошли лесом, через мостик, который за одну ночь сделали, узнав, что Яшина привезут сюда хоронить. Вышли на Угор, на высокий берег. Выступали, кидали комья земли,

плакали, стреляли из ружей — честь отдавали. Похоронили, врыли крест и здесь же поминали за столом, который он сам сделал. Земля, люди, простор успокаивают. «Беда не по лесу ходит, а по людям, — сказала маме тетя Анна. — Оживай, Злата, оживай теперь».

Долго мы бродили вокруг домика и могилы. Наши московские друзья, приехавшие с нами на похороны, были удивлены красотой мест, красотой сохранившихся обычаев. Вода в реке была в то лето очень холодной, обжигающей, но мы искупались в ней, как причастились.

А вечером в деревне, в клубе, были поминки. Люди пили, пели, гуляли, вспоминали. Оживали.

На следующий день нас отвезли в Никольск. В городском Доме культуры устроили вечер памяти поэта. Родственники и близкие сидели на сцене. Зал набит народом. Молча, стоя, почтили память. На сцене — папин портрет, видимо, наскоро нарисованный местным художником. Включают магнитофонную запись. Звучит папин голос. Он читает стихотворение о том, как он спас жизнь цыпленку... Я вспомнила, как он часто брал меня на какое-нибудь свое выступление. И я была в зале со слушателями. Никто не знал, что я его дочка, но когда раздавался папин голос громко через микрофон, мне становилось стеснительно, хотелось убежать, спрятаться. словно выдавалась наша семейная интимная тайна, наше повседневное, слышанное только нами, только для нас говорившееся. А ведь звучал только папин голос, звук голоса, его интонации.

И вдруг сейчас это наивное удивление, что вот уже все, уже никогда, и вдруг пришел к нам голос — и ради бога слушайте, все. Давайте вместе слушать!

Вспомнила, как папа умел захватывать аудиторию своим выступлением. Теперь выступали многие, говорили о том, как трагически рано, несправедливо рано, оборвалась жизнь. Что это тот случай, когда поэт набрался сил — и конец. Горько. Но Яшин сделал много и по количеству и по качеству, и что он — один из самых ярких выразителей нашего времени. Сложного времени. Потом читали стихи школьники — участники художественной самодеятельности. И как всегда, какая-то девочка запнулась, забыла и долго молчала —

так ничего и не вспомнив. Потом выступила мама. Она сказала: «Он любил вас. Вы — его герой, его родина. Он пел вас. Здесь сохранилась, как нигде, самобытность. Гордость и достоинство русского человека брал у вас...»

Я приехала через год на могилу. Снова поминали. Бабушка говорит: «Сегодня Шура придет. Скажется». Я спрашиваю: «А как вы узнаете?» — «А на сороковой день приходил — стучал несколько раз — я вышла. В день похорон к Манькиным детям приходил, у печки стоял. Они с перепугу из окна выскочили. Думает он про нас».

А у нас в Москве на сороковой день Юдина играла...

На следующий день бабушка спрашивает меня:

— Слышала ночью, корова колоколом брякала. Был Шура. — Бабушка что-то ищет в темном углу избы. Вошла Саня и включила свет: «Охота впотьмах тут ощупью сидеть!» Бабушка спохватилась, а ведь уж год, как провели электричество. Семьдесят пять лет она прожила без него. За год, видимо, не привыкла.

Я иду на Бобришный. Еще рано. Чудится, что сидит папа там перед своей могилой и горько плачет... Иду, а впереди бегут из нашей, из соседних деревень ребятишки. Босиком. Старшие держат младших за руку, забегают в рожь, собирают букеты васильков и бегут, бегут стайками к Яшину.

* * *

Идет время. Мы живем сами, одни. Одни бываем в разных краях. Те места, в которых бывали раньше с родителями, стали особенными. Как особенными стали люди, знавшие отца.

Я в Павловске. По той же дороге подъезжаю к дворцу, по которой ездили цари и царицы, по которой когда-то привез нас, детей, папа.

Три грации застыли в ожидании. Безучастные к взглядам людей. Сейчас я к вам подойду. Я когда-то подходила к вам совсем девочкой и стеснялась чего-то в вас и в себе — чего, тогда не могла понять.

Первый раз папа и мама подвели нас к трем грациям, ко дворцу и к храму Дружбы. Они ходили по

парку и вспоминали, как были здесь вдвоем, еще без нас. И теперь куда бы они нас ни привезли, что бы ни показывали: Крым, Ленинград, Павловск — они водили нас не только по городу или по парку, но по собственной жизни.

Раньше они очень много ездили по стране. Причем, если папа выезжал один, а мама никак не могла или из-за нас (все-таки четверо!), или из-за работы, то через несколько дней приходила телеграмма: «Вылетай!» или письмо: «Пусть мама выезжает скорее, а то обижусь...» И мама летела к папе, бросив все на свете. Но уж если они приезжали куда-то, то мама старалась ничего не пропустить. В доме существовала поговорка: «Опять в Бухару?!» Когда родители были в Средней Азии, они объездили несколько городов и прибыли в Самарканд. От Самарканда до Бухары лететь один час, и мама умоляла папу слетать в этот древний город, говоря, что такого случая больше не будет. Но тут папино терпение, видимо, лопнуло. И они вернулись в Москву к делам, которые все-таки могли подождать, а в этот город они так никогда и не попали. С тех пор, как только мама напоминала о чем-нибудь слишком настойчиво, папа говорил: «Опять Бухара!»

Где бы ни был отец, он мечтал всех своих детей туда свозить. Ему так понравилось на Алтае, что он хотел нас забрать туда на следующее лето. Скучал о нас, но не мог выехать, пока не увидел своими глазами, как убрали пшеницу.

Из своих поездок родители привозили нам подарки. Это была традиция. Хоть что-нибудь, пусть пустое, ненужное, но напоминающее тот край, где они были. С Алтая кедровые шишки, из Осетии ребятам джигитские национальные костюмы, а однажды из Кисловодска папа написал нам письмо: «Едем, едем... М... м... меду везем... Усы везем! Рыжие!» И папа приехал с усами...

В детском дневнике у меня есть запись о том, как в 1958 году мы: я, Злата и Саша — ездили к папе в Вологду зимой на школьные каникулы: «Утром в 8 ч. 30 мин. мы приехали в Вологду. Папа бежал навстречу нам. Нас встречали трое: папа, Викулов и шофер с машиной из обкома. Приехали в общежитие совпартшколы, где временно живет папа...» Папа, наверное, волно-

вался, знакомя нас, детей, со своим родным городом. Он очень заботился о том, чтобы мы хорошо ели, спали, гуляли, везде побывали. Он хотел, чтобы этот город стал нам дорог. Водил нас на выступления вологодского хора, на льнокомбинат. Гулял с нами по городу, вдоль реки, рассказывал нам историю Вологды.

«Утром мы ходили на каток, а в 2 часа пошли в театр на «Белоснежку». Посмотрели два действия, и после этого папа взял нас кататься на самолете». Следующая запись: «Утром папа уехал на Кубенское озеро ловить рыбу. Мы сходили в театр и досмотрели вчерашний спектакль. Затем ходили на пристань гулять. Вечером ели уху из папиных ершей».

И в артель кружевниц нас водил. И на танке где-то под Вологдой нас прокатил. Когда же спросил, что бы мы еще хотели посмотреть, я придумала, что хочу посмотреть, как автомат разливает молоко в бутылки и они крутятся — это я видела в киножурнале. «Ну что ж, раз тебе интересно!» — сказал папа, и на следующий день мы ходили по молокозаводу и видели ваины с творогом, только автомат не работал. Но нам объяснили, сколько он закручивает бутылок в день. И папа везде был с нами, слушал, смотрел, записывал. Ему все было и самому интересно. От его ненасытности...

И отовсюду письма — он любит и беспокоится о нас: «Мы задержались потому, что у старика отца ухудшилось положение с астмой. В Орджоникидзе начались неприятности, мы переехали в Кисловодск, но здесь тоже не процветаем. Денег уже нет, живем в хорошей гостинице, но едим только хлеб и лук с солью да пьем доломитный нарзан прямо из источника. Пожалуйста, пишите нам ежедневно, беспокоимся — можно по очереди».

В другом письме: «Я очень вас всех люблю, родные мои. Не сомневайтесь в этом. Конечно, прожить всю жизнь вместе и ни разу не поссориться тоже невозможно, но ссоры — это явление временное, преходящее, а любовь она остается, она вечная...»

Я в Павловске, иду по главной аллее, иду не по схеме для экскурсантов, не по стрелочкам, иду по памяти, по воспоминаниям и вижу эти вековые деревья сейчас и тогда — пятнадцать лет назад. Одновременно.

Пруд, поворот, аллея — идут папа и мама, и мы, дети, вокруг них бегаем, играем в прятки, в салки. Прячемся за стволами, за скульптурами. Родители время от времени стараются обратить наше внимание на красоту вокруг, рассказывают о том, что сами знают. И, казалось, нам не нужна была тогда эта красота, не обращали на нее внимания, и вот, сколько лет прошло, а она стоит перед глазами как живая.

Я иду к главной цели моего посещения Павловского парка, к храму березок. Тогда мама с папой вели нас к этим березкам на поклон, как к чуду. Теперь я иду и плутаю, плутаю. Вот аллея двенадцати дорожек, мавзоль, охотничий дом — пиль-башня. Охотничью пиль-башню я запомнила очень хорошо, картинно, если так можно сказать. Мне казалось, что я тогда слышала звук охотничьих рожков и видела возбужденных породистых собак, возвращающихся с охоты, и всадников на прекрасных стройных конях. И под мостиком, конечно, несущийся пенистый поток. А в пиль-башне наверху, откинувшись в креслах, сидели уставшие охотники и грелись, вытянув свои ноги у камина. И огонь играл на их мужественных лицах. Все это я видела тогда. Но... Все эти строения теперь оказались ближе друг к другу и меньше.

Я торопилась, хотела напрямик, насквозь, как привыкла спешить проходными дворами сломя голову к автобусной остановке, чтобы не опоздать на работу. Но напрямик не получалось. Берез не было. И я доверилась дороге, делающей привольные широкие круги среди леса и полянок. При каждом новом повороте открывались новые и новые виды. Группы деревьев, кустарника и дальний лес. И неожиданные изгибы тропы — шириной не для машины, а для свиты или кареты. Не идешь, а катишь в карете плавно, и все успеваешь рассмотреть. И вот уже кажется, что сейчас будут березы. Вот группа берез — может быть, это они, но нет, не они. Просто похоже, и ты что-то вспоминаешь, память показывает тебе новые и новые подробности из своей жизни и петляет, как дорога, вместе с дорогой. Так часто бывает, что хочешь вспомнить напрямик, а у памяти своя дорога, и она показывает тебе то то, то это. Картинами, словами, интонациями, состоянием твоим. Ты идешь, насильно тебя ведет тропа, и

радно, что ты не можешь пропустить ни одного деревца, ни одного вида.

Помню, как возвращались мы с папой на дачу с прогулки. Все устали. Папа идет с палкой. Одно время он ходил с палкой — купил себе две красивые. Потом перестал. А тогда ходил. Я ною: «Да-а, тебе хорошо, ты с палкой! Тебе легче!» — «Ну да! — отвечает папа. — Сам устал, да еще палку тащи!» Мы смеемся.

Трава под ногами, листья, кустики, деревья — высокие и поменьше — дети и взрослые. Так в семье нас, детей, мама называла подлесочком и говорила, что это красиво, когда есть в доме и внуки, и дети, и родители, и бабушки-дедушки, и кошки, и собаки. Вот в лесу всегда так: все есть. Все так удивительно. И снег, и замерзшая вода в канавах... и дорога, и словно: «Никуда тебе не свернуть, пока не пройдешь всю, ты еще не устала, не все видела».

И вдруг — вот они.

Конечно, не могли они быть так открыты. Они стоят, окруженные лесом, островками. От них расходятся семь дорог. А они в этой лесной зале кружат хоро-вод. Они замерли, они ждут сигнала начать. Может, моего?..

Такая радость напала на меня, когда я их увидела и поняла их как достоверность воспоминаний, памяти моей, как свидетелей, что мы были здесь и все было именно так, как помню.

Разве только что лето, а не осень. Только я иду одна. Радость тех нас, бывших, что есть на свете место, куда можно прийти, и ничего здесь не выстроили, не встроили, не загородили, и березы не выросли, не состарились, а такие же — подростки, живая декорация, на фоне которой — память, вспоминай...

Я вспомнила, как нам было беспечно и весело в тот день, и мы непрерывно смеялись, шутили, и погода была солнечная, ясная. Но, когда мы уходили от храма березок, небо почернело, и начался внезапно дождь. Только-только успели вбежать в лес и встать под огромную ель. Она всех накрыла своими лапами. Но дождь был проливной, все усиливался, хотя солнце уже возвращалось и брызги слепили. Мама сняла с себя тонкий белый очень широкий шарф с кистями. Один конец натянул папа, другой мама. Мы все забились

под этот шарф, как под навес, смеясь и толкаясь. Вместо дождя вдруг посыпался град. Крупные белые шарики скакали в лучах солнца на повороте тропинки, около которой росла наша елка. В середине шарф немного провис от града и воды, и крупные капли падали на нас. Но все-таки, благодаря этому шелковому белому натянутому шарфу, мы остались все сухие. Ноги потом разъезжались по мокрой дороге, и шарф был насквозь мокрый.

Так и осталось у меня в глазах, в сердце, как мы, дети — я, Злата, Саша и Миша — живые, здоровые, все вместе стоим под маминым шарфом, натянутым папой и мамой над нашими головами под большой елью, и ждем, когда пройдут град и дождь. И все переливается — в солнце капли, брызги. С листьев капает, все лучится, слезится. Все зеленое, и только солнце просвечивает через листву тысячами цветных блестящих лучиков. И так я вижу все это, прощаясь с березами и подходя к лесу, уходя из него. Словно вот она, моя семья, вот они, такие милые лица, добрые, теплые. И зовут: «Иди к нам, спрячься от дождя, пережди град, мы все поместимся под этой удивительной крышей. Ты же наша. А мы твои».

* * *

Папа. Вопросы, предназначенные ему. Вопросы, из которых складывались наши отношения с первых моих слов: «Папа, а травка появляется — это весна делается?» И потом: «А что это значит? Пап, а как ты относишься...»

Вопросы усложнялись, ответы тоже.

Папы нет, можно кого-нибудь спросить или посмотреть в словарь, но он, он не ответит больше. И до конца дней моих он — мой папа, я — его дочка.

И вот теперь, какие бы ни были раньше сложности, неразрешимые проблемы, ссоры, как теперь все просто, ясно до ужаса. Существует лишь отношение: он — умер, я — жива.

Первые детские воспоминания: папина спина, походка. Он сидит за столом в кабинете на фоне книжных стеллажей. Я даже зрительно помню корешки — за плечом справа видны две большие книги, таинствен-

ные, непонятные «Одиссея», «Илиада», выше и слева — «В лесах» и «На горах» Мельникова-Печерского. Тисненные золотом старые переплеты. Папа отрывается от бумаги, поднимает голову. Мама держит меня на руках. «Поки-ноки», — говорю я. Это означает «спокойной ночи». Я не помню, что он мне отвечает. Видимо, что-то очень ласковое. Помню его взгляд, его голову, повернутую в мою сторону, выражение любви и нашей связанности с ним.

В мои три с половиной года папа надписал мне свою книжку:

«Моей любимице,
Моей красавице
Из сердца выльются,
Чтоб ей понравиться —
Дочурке старшенькой
Слова сердечные,
Моей Наташеньке
На веки вечные

от папы. Александр Яшин

19 мая 1948 года, вечер.»

Так и представляю. За окном темно, на столе лампа горит, сидит мой папа и подписывает своей трехлетней дочке книгу. И в надписях всех его остальных книг всегда было обращение ко мне как к другу — с уважением, с надеждой, с пожеланием творческой жизни. И верой в меня... Вот последняя надпись на книге «Бессонница». Папа очень мало кому подписал ее, так как при нем мы успели получить только первые десять экземпляров. Папа подписывал мне эту книгу чуть ли не целый день. Ему трудно было сосредоточиться — вводили наркотики. Физически трудно. Он отдыхал после каждой буквы. Писал неровным почерком, писал для меня: *«Любимой моей дочери Наталье. Горе сближает людей. За последнее время мы с тобой как-то больше стали понимать друг друга, и я рад этому. Будь счастлива! Перехожу на прием.*

Александр Яшин».

24/V-68

Поздно пришло ко мне желание, умение понять тебя.

Помню в светлой комнате с голубыми обоями чер-

ный блестящий рояль и на нем огромный букет роз, отражающихся в полированной крышке рояля. Это папа привез с юга.

Если папа привозил что-нибудь, то всегда много, охапками: цветы, фрукты — много всего. И про нас, детей, он всегда говорил: «яшинский колхоз». Нас тоже было много. Папин приезд откуда-нибудь означал подарки. Задолго до возвращения он готовил нас в письмах: «Везем вам небольшие подарки — кому луковицу, кому пуговицу» или «Жди подарков из Ленинграда», «Я тоже купил — только пока не скажу — чего», — приписывал он к маминому письму.

Маленькую катал он меня по ипподрому на санках. Ипподром после пожара одно время пустовал, и по заснеженным дорожкам папа бегом возил меня. Блаженство от подобных катаний осталось на всю жизнь.

Он любил исполнять наши просьбы, обещать что-то. Он любил повозиться с нами: на диване, на полу. Мы по очереди залезали к нему на живот, и папа подбрасывал нас, приговаривая: «Поехали к бабушке в гости на папином животе». Смех, веселье. Мы скатывались, толкались, барахтались вокруг него. Если же папа поднимал нас в воздух на ногах — это называлось тоже ехать к бабушке в гости, только на самолете. Наигравшись, отец запирался в кабинете.

Когда он сидел, закрывшись в кабинете, — работал, нам не разрешали шуметь. Мы старались. Но войти к нему в комнату, посмотреть на множество прекрасно отточенных карандашей, что-нибудь получить в подарок: ластик, бумажку, — счастье. Самое заветное, когда он подпускал нас к ящику в письменном столе, где была масса интересных штучек. Клей, маленькие счеты, четки, почтовые наборы, какие-то булабочки, скрепочки, значки. Папа любил все эти мелочи, любил, чтобы было много всего и все лежало в порядке. Допускал нас сюда, когда был в хорошем настроении, и потом сердился, так как мы, конечно, умудрялись что-нибудь не положить на место.

Он любил дарить нам игрушки, но сначала играл в них сам. В детстве у него не было таких машин, самолетов. И теперь он, как ребенок, дивился и радовался им. Только в отличие от нас не сразу ломал, а сначала читал инструкцию — как заводить. Однажды он

купил нам железную дорогу. Ее долго собирали в большой комнате на полу. Устанавливали станцию, стрелочника, светофоры. Сцепляли вагончики, паровоз. Все сидели вокруг железной дороги, с замиранием сердца ожидали первого рейса. Сколько было счастливого визга, когда вагончики поплыли перед глазами. Папа играл с нами, счастливый от этого игрушечного чуда. Вид у него был такой гордый, что можно было подумать, словно он сам изобрел эту дорогу. Саша — брат мой — долго сидел молча, восторженно следя за происходящим, потом вдруг как закричит, обращаясь к папе: «Ой, спасибо вам, товарищи!» Так искренне вырвалось это у него! Папа с тех пор, когда хотел кого-нибудь поблагодарить, тоже смеясь говорил: «Ой, спасибо вам, товарищи!»

...Как-то отец с Мишей гостил у своего друга писателя Белова в деревне Тимониха Вологодской области. Деревня находится в стороне от железной дороги. И вот я с приятелем Миши, Антоном, отправилась поздравить отца с днем рождения. Часть дороги мы проехали на машине, часть — прошли, а в самую деревню въехали сидя «верхом» на попутном тракторе. В руках у меня торт и букетик фиалок из Москвы. Трактор остановился прямо против избы. Папа, Миша и Вася Белов, видимо, недавно встали. Под рычание трактора с радостными воплями, полуодетые, выскочили они на улицу все трое, залезли в сугроб и стали нас снимать с высоченного прицепа, принимая нас с Антоном как подарок, не веря, что мы добрались. Мы и сами не верили. Кругом сугробы, леса.

Папа любил дарить. Любил сам получать подарки, любил внимание к себе. Если он покупал что-нибудь, то дарил тут же, считая, что в день рождения будет другой подарок. И зачем откладывать радость дарения?

Я стала постарше, и мне стали давать деньги на подарок или советовались, что подарить. И вдруг в семнадцать лет снова настоящий подарок, неожиданный. Отношения у нас с отцом тогда были трудные, никто в них не мог разобраться. Отец говорил, что у меня «переходный возраст», часто обижался на меня, а я на него.

И вот в свой день рождения я вернулась с концер-

та. Дома одна, все на даче. Вдруг увидела на столе кофточку с надписью «Синтетика». Очень уж вдруг, сразу не сообразила кому, зачем. Потом поняла. Кофточка, духи, значок «Синтетика», и книжка «Совесть» с надписью, и пятнадцать рублей вложены. Стала читать. Радостно, волна накатила: я нужна, любят, я родная. Позвонила на дачу, позвала папу. Он подошел:

— Мала кофточка?

— Нет, пап. Спасибо, папа.

— Я могу заменить «Совесть» на «Свежий хлеб» или «Вологодскую свадьбу». Духи на чернила, скажем. А кофточку...

— На майку.

— Да, на майку, — шутит папа.

— Не надо, пап, менять.

— Там есть других расцветок кофточки, тоже кубиками, но другие, — дружелюбно говорит он.

— Не надо, пап. — Я растроганно молчу. Я почти плачу.

— А пятнадцать рублей я тебе замену на сто, — продолжает шутить папа.

— Нет, не надо, пап... Спасибо за «Совесть».

— Ну, я не умею с тобой говорить. Сейчас подойдет мать.

Подошла мама, и я разревелась.

Иногда он вызывал меня на откровенный разговор, по душам: почему у нас с ним такие сложные отношения? Я по-своему старалась объяснить, но потом чувствовала себя мерзко, а отношения еще больше запутывались. Получалось, все виноваты, меня не могут понять и т. д. Папа во время моих откровений почти всегда молчал, я думала, он сейчас взорвется. А он мне отвечает:

— Я хочу только, чтобы ты знала, что мы с матерью желаем тебе добра. Хочу, чтоб ты знала, что ты с детства привыкала к отцу, а я не могу сразу привыкнуть к тому, что у меня взрослая дочь, я не знаю, как с ней обращаться, как принимать...»

Когда мне исполнилось двенадцать лет, он подарил мне деревянную шкатулку, написал и сам врезал крохотный замок, вручил торжественно ключ. Из Кисловодска нам всем привезли по кружке в горошек, с надписями. Кружка моя разбилась, остался осколок с над-

писью, и я берегу его. Так у моей бабушки пятьдесят лет лежало на столе старинное круглое зеркальце (ухо, горло, нос) — память о моем деде Константине. Он был врачом.

Конечно, это желание сохранить вещи, которые имеют только духовную ценность, внушили мне родители. В письмах ко мне в пионерлагерь папа давал такие советы: «... Письма тоже надо писать старательно. Ты же уважаешь и себя и нас, значит, и нельзя так водить помелом по бумаге. А то уже и Злата тебе подражать стала. Еще один совет. Мы с мамой бережем все ваши письма и открытки. Берегите и вы наши письма, складывайте их в одно место, сохраняйте. После, когда вы будете уже взрослыми, а мы старичками, эти письма для вас будут очень дороги, как для нас — ваши письма. Скажи об этом Заиньке, Саше и Мише, пусть и он поймет. На открытках письма не пишут, они не для писем, а для всяких поздравлений, новогодних, например, и для коротких сообщений. Письма надо писать на хорошей бумаге».

Как я благодарна, что он научил меня хранить все письма, и с каждым годом ценность их для меня нарастает. Так же папа посоветовал мне вести дневник во время наших путешествий.

Родители научили меня этой удивительной форме, возможности человеческого общения. Научили доверяться письмам, откровенности, серьезности и шутке в них. Станным кажется, что многие люди даже не подозревают, что можно через переписку узнать друг о друге больше, чем, скажем, по телефону.

Нам, детям, папа из Гагр писал шутливые письма на листьях фикуса. Прямо на листьях была приклеена почтовая марка и стоял штамп.

Мне было восемь лет, а младшему брату Мише не было еще и месяца. И вдруг приходит открытка с картинкой «Прибыл на каникулы». Корявым, старательным детским неграмотным почерком: «Дарагая мая Наташа! Я тибя очень люплю и абажаю. А ты миня люпишь? Твой прат Миша Ршини. Прости, что ище плоха пишу». И нас, детей, отец вовлекал в свои проделки. Но тогда я верила, что это в какой-то степени и от Миши. Что он уже меня любит, ведь не может прийти письмо совсем без вехома автора. Просто он не

может сам написать, но написал бы он мне именно это.

Нас было много, мы часто мешали работать. И папа говорил: «Дети, дети, куда мне вас дети!» И подружому: «Сопливенькые, да свое!» Шутил.

В Голицыне мы с папой выходим на Минское шоссе. Идем лесом, темнотой, снегом. Выходим и слушаем. Папа отворачивается и говорит, какая машина проехала: по звуку — грузовая или легковая. Иногда я прыгала и, торжествуя, кричала: «Нет! Нет!»

Главное не это. Дорога была горбатая, и далеко, очень далеко от нас, было темно, потом появлялось легкое сияние, оно поднималось, становилось дугой, шел снег в свете, и вдруг выныривали две желтые яркие фары с кружками света вокруг. Около нас темно, и было бы страшно от таинственности. Но папа держал меня за руку, и это стало вечностью в моей жизни.

До какого-то времени я считала глупыми всех взрослых, которые спрашивали хитрым голосом, желая выведать тайну: «Детка, кого же ты больше любишь, папу или маму?» Мишка маленький как-то поторопился и сразу обратился к обоим: «Мапа». Так мы и говорили потом часто: «мапа». Это было для нас одно целое. Неделимое. Есть другие мамы и папы на свете, но это — мое, наше. Это нам дано. Они принадлежат нам, а мы — им. Так понятно было устроено в мире. Папа и мама. Держат тебя за руки, поднимают, и ты перелетаешь через лужу по дороге, счастливая, доверившись им, ни о чем не думая. Четырехлетний Миша благодарил маму: «Спасибо, что ты мне такого папу выбрала».

И теперь я иногда сама в себе, в Мише ловлю сходство с папой. Руки, ноги — мои — его. Иногда так ясно представляешь, что ты — его продолжение, протяженность вещественная, духовная.

Каждую субботу, после школы, вывозили нас всех на дачу, на воздух. Тогда это было для нас наказанием — эта обязательность.

Папа сердился, когда мы болели, мрачнел. Это его раздражало. «Опять они у тебя болеют!» — говорил он маме. А мы, — конечно, один за другим все переболеем очередным гриппом или свинкой какой-нибудь.

Сам же папа, когда заболел, становился кротким, покорным. Чуть ему становилось лучше — и он удирал в пижаме из больницы. Придет утром сестра его колоть чуть позднее, а он уже ушел в кино. Кино обо-жал.

Очень ревниво относился к тому, чтобы мы хорошо учились, мечтал, чтобы все поступили в институт. Всех нас учил музыке, а сам иногда садился за инструмент и говорил важно: «Ну, с чего начать? С «цыганочки»? И негнуцимися пальцами играл «цыганочку», которой его научила мама. А потом нам же жаловался, искренне беспокоился: «Вот вы уже дети интеллигента, а я мужик, сын мужика, крестьянин. Вырастете, и будете меня стесняться». А мы просто-душно уверяли его: «Ну что ты, папа, не будем стесняться».

Предупреждал, что никогда никому из нас не будет помогать поступать в институт. Когда я поступила на дневное отделение, он был счастлив, а потом начал упрекать, что в моем возрасте он уже сам кормил себя. Я подала на вечернее отделение — он начал умолять меня забрать заявление назад. Он был против моего желания стать архитектором. Возражал же, понимая, что архитектор чаще всего сейчас не творческая профессия, а служба в конторе. Сам всегда боялся звонков и номерков, и меня предупреждал: «Институт — дело хорошее, и архитектурный тоже. Но в отношении времени, свободы обыкновенный школьный учитель в лучшем положении...»

Помню, как мы ехали с ним на машине по Москве. И вдруг перед машиной идет, качается человек — я подумала: пьяный. Может, так и было. Весь грязный, черный. Шатается, не дает проехать. Я рассердилась, а папа спокойно объясняет, хотя это его в первую очередь должно было раздражить: «Он — метростроевец. Этих людей надо очень уважать — они под землей работают». И папа ехал еле-еле, почтительно, сопровождая рабочего. И у меня осталось впечатление, что метростроевец шатался оттого, что долго был под землей, а теперь попал на солнечный свет...

Папа всегда воевал с моей резкостью, нетерпимостью. «Как ты беспощадна к людям!» — сокрушался он. «Папа, я больше не буду!» — хочется мне сказать.

Сам он, несмотря на свою вспыльчивость, очень внимательно относился к окружающим.

Последние годы много трудного было в наших отношениях. Мы повзрослели, у папы своя жизнь была достаточно напряженной, и не всегда мы успевали понять друг друга. И все-таки отец никогда не упускал нас из поля зрения.

Я поступала в институт, сидела дома одна, готовилась к экзаменам. Мама писала мне ободряющие письма, и папа приписывал свои соображения: «Я, конечно, очень желаю тебе удачи, но если не поступишь — небо опять не обвалится. Главное на экзаменах — отсутствие страха, самоуверенность. И еще, не влюбись там в кого-нибудь, не потеряй голову, очень беспокоюсь за тебя. Все-таки в институт легче поступать, когда ты вольная птица, не каторжанка. А мы с тобой, мы твои крепостные (пока)».

И потом после моего непоступления вызвал меня в Церделкино. Хотел серьезно поговорить со мной, откликнуться на мое мрачное состояние. Три часа говорил: «... жизнь не кончена, все впереди, ближайшая цель — институт. Ты нечеловечна и высокомерна с людьми, тебе кажется, что ты — пуп земли. Везде тебе плохо пока будет, не отчаивайся, бери свое, думай о своем». Сказал, что раньше я его раздражала своим подтруниванием, нетерпимостью. Теперь — ничего. Что я слишком рано поставила себя в семье независимо, и когда он меня маленькую раз шлепнул, то больше уже не мог — так я себя вела.

Говорил, что они с мамой волнуются и следят за моими переживаниями, и ему кажется, что я — талантливый человек. И все мои метания — первый признак таланта. Какого?.. Я же слушала и думала, что никогда ему ничего не смогу объяснить и, вероятно, никому. Что у нас с ним слишком официальные отношения, надо, чтобы были свойские, доверительные, а он умнее и старше и все время держит это надо мной. А для меня это не подойдет. В конце концов папа рассердился, сказал, что не знает, зачем я уклоняюсь от разговора, и сказал, чтобы я брала пример душевности у матери.

Потом к нам пришла смерть. Внезапно умер Саша, мой брат. Ему было почти семнадцать. Папа был в Гаг-

рах. Всю ночь по телефону мама пыталась сказать ему, что несчастье, и не хватало духу. Но папа понял и сказал сам: «Его уже нет». Утром мы встречали папу на Внуковском аэродроме. Много наших друзей приехало. Мы смотрели, смотрели в небо, на самолеты, словно что-то могло измениться, словно что-то зависело от того, прилетит самолет на минуту раньше или позже.

Объявили, что самолет из Сухуми приземлился. Я с нашим другом Вадимом прошла на поле к самолету. Почему-то нас никто не остановил. Папа должен быть скорей с нами. Мы тянулись друг к другу, и отсутствие кого-либо в тот момент было очень тяжело. Нас ведь и так стало меньше.

Я увидела его. Он шел с цветами, последними южными цветами. Был декабрь. Папино лицо заплакано. Глаза какие-то сосредоточенно пустые, слезы текли, лились по щекам. Он увидел меня, понял, окончательно понял, что никто ничего не перепутал, что ошибки не произошло. Вместо приветствия папа как-то бросил свою руку на мое лицо, ощупывая, не веря своим глазам, проверял, тут ли я, как слепой, веря только своему прикосновению.

И потом, когда умерла бабушка и еще умирали близкие нам люди, — папа говорил, что каждые похороны он снова хоронит сына.

Память многое стирает. Говорят, время — врач. Это так. Но иногда так защемит сердце, что отца нет... Дальше реже, но острее. Потому что в первое время после утраты ты еще чувствуешь его реальное присутствие в твоей жизни.

И вдруг иногда нахлынет, нападет на тебя воспоминание, какая-нибудь деталь доведет до слез, вернется ощущение его человеческого тепла, улыбки, привычек, характера, его походки с достоверностью сновидений, так, что, кажется, можно дотронуться, окликнуть.

Отец был человеком романтичным, увлекающимся. Он был поэтом. Бывали у него и сложные ситуации в личной жизни. Но, несмотря на это, у нас всегда была настоящая семья. Может быть, здесь тоже сказало его крестьянское происхождение — он был настоящим семьянином по своей природе. Через всю жизнь над всеми сложностями пронесла мама к отцу свое необыкновенное чувство. И отец часто повторял:

«Если бы не Злата Константиновна — я бы не знал, что такое любовь».

Мне было шестнадцать лет, мы с папой пришли в первый раз в гости к поэту Виктору Бокову. Одно время они дружили. Я в белом пальто с капюшоном, вся в снегу. Боков открывает нам дверь и, удивленно глядя на мое счастливое пезнакомое лицо, тихо спрашивает папу: «Кто это?» И папа громко, полусерьезно начинает ему объяснять: «Ну как же, поэт должен быть влюблен...» Пройтись бы с тобой, отец, сейчас под снегом, счастливой!..

В этом году я была в Коктебеле. Двадцать лет назад мы там жили всей семьей. Папа привез нас на машине. Остановил машину, когда мы проехали через Байдарские ворота, и первый раз в жизни мы увидели море. Издали. Оно было белесое, знойное, сливалось с небом, оно не отличалось от неба. И мы остановились, как на краю света. Потом мы месяц жили на самом берегу моря, и папа увлекся собиранием коктебельских камней. Он подчинил себе всех нас, заставил весь «яшинский колхоз» собирать камни. Он радовался каждому стоящему камню, по-детски переживал, если не он находил.

И вот в этом году летом перед поездкой в Коктебель я два месяца лежала в больнице. В последнюю ночь перед выпиской волновалась. Не спалось. Возвращение домой, ко всему, от чего на два месяца была оторвана. Вспомнила, как детьми уезжали мы из Коктебеля на машине. Разбудили нас на рассвете и велели выкупаться или хотя бы обрызгаться. Папа сказал, что это как примета, чтоб опять к морю вернуться. Видимо, он считал, что монету бросить недостаточно. Утро. Зябко. Купаться не хочется, хочется в постель, свернуться теплым клубком. Станным кажется, что еще вчера мы с наслаждением купались и что через несколько часов станет невоготу не искупаться. А сейчас... Утреннее море, холодное, бесцветное. Солнце собирается взойти. Все спят. Наши одинокие фигуры на пустом берегу, страх перед морем, его огромностью и равнодушием. Но страх от того, что вдруг это в последний раз, — сильнее. Разве можно папу не послушать — себя перестанешь уважать...

Разве можно сказать: «Кончилось детство». Оно

живет всю жизнь в нас, и мы живем им. «Откуда я родом? Я родом из моего детства, словно из какой-то страны».

Папа. Прожила с ним жизнь. Вот он умер, а я продолжаю с ним жить. Вот он входит, садится, смотрит, слушает. Он не говорит, не ест, но он реально живет со мной. Подхожу к дому и думаю: вот стоит машина, а вдруг в ней сидит папа как ни в чем не бывало. Подхожу к подъезду нашего дома. Темнеет. Стоит машина, за рулем человек. Не видно кто. И я подхожу с нетерпением, с щемящей надеждой, зная, что это невозможно.

* * *

Я знаю людей, которые очень любят свою профессию, увлечены ею, своей работой, чувствуют к ней призвание. Но эти люди признают равную важность и ценность других занятий.

Папа очень многим увлекался в жизни, но самым главным увлечением его была литература. Он считал, что нет ничего выше литературы. Страсть, томление перед чистым листом бумаги, влюбленность в писание. «Слово будет жить вечно, пока жив человек, — говорил он. — Книга — единственный памятник человеку, его делам», — объясняет он нам, детям.

— А скульптор, а музыкант? — стараюсь я его уличить.

— Все равно обо всем расскажет книга: о скульпторе, о художнике — книга все переживет.

Он мог убедить кого угодно, настолько сам в это верил.

Мама всегда была убеждена, что высший дар — это голос. Папа считал, что голос наиболее очевидный дар, и превыше всего ставил голос поэта, писателя.

И в нас, детях, он всегда воспитывал любовь к книге, чтению, желание иметь свою библиотеку. Иметь понравившуюся книгу, а не только прочитать и отложить, видеть ее перед глазами, держать в руках — стало необходимостью. Книжки, которые я читала, но которые ушли из дома, ушли совсем, вместе с содержанием. Мне кажется, что если бы не было полок с книгами перед глазами — я бы чувствовала себя так, словно никогда ничего не читала.

Мне было два года, когда папа подарил первую книгу «Золотые зерна» — пословицы и поговорки. Так и надписал: «Книга первая. В библиотеку моей милой дочери Наташи Яшиной от папы. Александр Яшин». И потом дарил книги — иногда надписывал с указанием даты, к которой я должна была прочесть ее. Папа учил нас беречь книги, аккуратно листать страницы, не загибать углов.

Вспоминаю поездку с отцом в имения русских писателей: Ясную Поляну, Спасское-Лутовиново. При виде мемориальной доски с именем писателя, отец всегда останавливался. Были мы и в Михайловском, долго бродили по парку, по дому. В то время посетителей было немного. Около гостиницы увидели табор цыган, стали вещи прятать от них, вносить в номер. Директор успокоил нас: «Что вы! Это для них святые места. *Цыгане приходят к Пушкину на поклонение*». Нам стало неловко.

Помню, как папа перечитывал свою повесть «Аст-ма», которую он на время забросил. Сидел в своем кабинете, закрывшись, и только иногда выбегал из комнаты, проносил по коридору целую пепельницу окурков, выбрасывал и ахал: «До чего ж увлекательная вещь литература!» Его захватило собственное произведение, которое он забыл.

Писать он начал с детства. Моя бабушка, папина мать, — неграмотная. Отец его был убит на гражданской войне. В подрастающем сыне (папа был старшим) мать видела помощника по хозяйству, работника. А он рвался учиться. Убегал из дому, после базара поднимал оброненные копейки, голодал, дрался с детьми богатых родителей из-за завтрака. Кто кого. Такая жажда учиться. Никто не заставлял. Наоборот, мать говорила: «Я прожила неученая, и ты проживешь!»

Позже, работая учителем, он сам рассказывал: как зазвонят на урок, а он оторваться не может — сидит стихи пишет. Разбирая его вещи на чердаке в избе, мы нашли первые стихи, целые поэмы, дневники, конспекты занятий, и на дешевой желтой бумаге с отгрызенными углами портрет Пушкина. Просто поражает, как он строил, растил сам себя, вечно о чем-то размышляя, мечтая.

На первый гонорар за стихотворение, напечатанное в газете, он купил конфет в подарок своей матери. А его высекли: «Писарь нашелся!» Так всю жизнь и говорили: «Шурка писарем на городах».

Наша мама безгранично верила в талант отца, и он всегда находил поддержку, помощь в этой вере. И нам она писала об этом: «Сегодня четырнадцать лет с тех пор, как образовалась наша семья, как мы с папой поженились. Только бы был здоров, только бы жил с нами наш светлый, родной отец. Удивительной силы он писатель и поэт — у него получается все по-своему, все на других не похоже. А это главное в творчестве». Из Кисловодска: «... Папка сейчас много работает, пишет интересные стихи — в его жизни это самое главное, самое чудесное. Я иногда вдруг ясно-ясно вижу, какой большой поэт твой отец. Все, что он пишет, — все не похоже на других больших или малых поэтов. У нашего отца свой голос, он видит мир и людей своими глазами, но всегда старается раскрыть правду, показать так все, как оно бывает на самом деле...»

В другом письме: «Милые, родные мои, будьте все здоровы — это так надо, так надо... После разговора с папой я вчера долго-долго лежала, не могла уснуть. И так мне было жалко папу: и я у него сдала, и сам он нездоров, и деньги надо доставать... А ведь он настоящий большой поэт, он родился поэтом и мог бы гораздо больше сделать и написать, если бы другие были условия...»

Писал папа, по-моему, с каждым годом труднее, а сам считал, что писатель обязательно должен быть и графоманом. Часто повторял, что Лев Толстой не мог спокойно видеть белого неисписанного листа бумаги. Сам писал все труднее потому, что усложнялся его внутренний, духовный мир. В нем происходили какие-то мучительные перевороты. Сам он накапливался как человек, как писатель. Жизнь оборвалась, когда он набрался сил, когда подошел к тому, чтобы сказать об очень важном, выстраданном, когда он столько выносил в себе.

Папа ушел, и вся общественная, социальная жизнь в какой-то степени ушла из нашего дома. Потому что его жизни хватало и нам. Он был человеком, вокруг которого могло еще двадцать человек «кормиться» его

миром, его интересами. Все разговоры семейные, общественные велись при детях. Если кто-нибудь приходил в гости, мы были тут же. Часто нас брали с собой туда, где, считали, и нам будет интересно.

Первый раз при мне в гостях у Бокова отец прочитал свой очерк «Вологодская свадьба», абсолютно не подозревая, что она вызовет такое раздражение у критики. И столько боли ему принесет.

О том, насколько важным считал отец, чтобы мы были в курсе общественной жизни, говорит такой эпизод. В 1953 году мы жили за городом в Голицыне. Мне было восемь лет, Злате — шесть, Саше — четыре года. И вот он нас ночью, сонных, возил оттуда в Москву в Колонный зал на гражданскую панихиду, тогда искренне считая, что это важно для нас.

Многое отец пересмотрел в своих взглядах, в своем отношении к людям, к событиям. Прямо говорил об этом. Необыкновенной прямоты его некоторые не выносили. В гостях у одного знакомого художника отец слишком откровенно начал говорить о своих взглядах. И жена художника стала умолять маму: «Сумасшедший, что он говорит! Уберите, уберите его, своего сумасшедшего!» Дружить с папой было сложно.

Много людей тянулось к отцу. Литераторы и нелитераторы. Молодые и старые. За советом и так просто — за добром. Сам он радовался новым знакомствам. Из Курска пишет: «Я подружился с писателем Овечкиным Валентином Владимировичем, и мне стало легче и радостнее после встречи с ним. Он очень хороший человек». Из Паланги: «Езжу я в группе Юстинаса Марцинкявичуса — отличный большой поэт и обаятельный (застенчивый!) человек».

Многим начинающим поэтам и писателям помогал. Интересны были его замечания по поводу какой-нибудь конкретной вещи. Мне он говорил: «Надо переписывать классику. Взять какой-нибудь рассказ Гоголя, Чехова и переписать». А я рассказала папе о том, как Шопен за неделю-две до своего концерта (на котором он должен был играть только свои сочинения) играл только «Хорошо темперированный клавир» Баха. И считал это лучшей подготовкой.

Папа рассказывал, как он раньше думал, что должен быть в курсе всего того, что у нас печатается. Это

еще в самом начале. Читал все журналы, тратил лучшие утренние часы на газеты — от жажды все знать, везде быть, все своими руками потрогать. И трактор водить, и самому прибивать каблучки — сапожный верстак купил. В магазине он всегда просил показать поближе: «А пощупать можно?» Из любопытства пробовал устриц, трепангов, китайских червячков и нас заставлял.

Где счастье или несчастье — он бежал туда. Помню, как мы с ним ездили на велосипедах в Переделкино в магазин к пруду. И вдруг узнаем: утром утонула девушка, десятиклассница. Народ боязливо толпился от любопытства и страха увидеть. Вытащили к вечеру. Уже темнело. Даже не темнело, а страшнело. Люди поределели. И вот отец отправляет меня домой, но не настойчиво. Мол, если хочешь, пошли со мной. Я была потрясена уже одним известием — не знала тогда еще даже слова «смерть», а тут «утонула»... Не помню, как я добрела до дачи, по воздуху, наверное. А папа пошел туда — как следователь, как писатель.

В своей жизни он много видел человеческих трагедий, не уходил от них, но вспоминать про войну не мог, хотя пережил и ленинградскую и сталинградскую блокады. Рассказывал только несколько страшных эпизодов. Говорил, что еще не улеглось, слишком остро все, не пришло время писать об этом пока...

Папа всегда много читал и перечитывал, в конце книги ставил дату: прочел тогда-то, иногда две-три даты. Теперь он говорил, что покупать надо только те книги, которые будешь перечитывать. Не только из-за того, чтобы дома скапливалось меньше хламу бумажного, — из экономии собственного времени.

Как он страдал оттого, что ему не хватило жизни: месяца, дня, написать, доделать, завершить. Страдал духовно, физически оттого, что вот есть столько сказать, знает как, и нет времени... «Ваше время истекло...»

Перед смертью он говорил мне, когда я мечтала полететь на Камчатку: «Хватит ездить, надо писать. Всего не увидишь, везде не побываешь. Ты потонешь под грузом впечатлений. Надо уметь отбирать, надо писать. Необходимы упорство и непрерывность в работе. Кроме таланта, который дан божией милостью, ну-

жен еще характер соответствующий, а это — тоже талант». К нему пришла ясность, прозрение — всего не успеешь — надо выбирать.

Своим молодым друзьям-писателям он проповедовал свое кредо: «Брось все эти мелкие удовольствия. Броди, думай, смотри, мучайся. Почаще привязывай себя к столу...» «Истинное счастье невозможно без одиночества», — подчеркивает он у Чехова. Литература — это подвиг, считал сам.

Всегда при отце была записная книжка. В больницу я привезла ему новенькую записную книжку с разноцветной обложкой. Он обрадовался: «Надо еще десять таких купить разных цветов».

Он собирал слова. Кто-то скажет образно, интересно — записывал в большую тетрадь с заглавием «Золотые слова».

Завороженность словом. «Я знаю, как надо писать, — надо живописать».

К отцу приходили, навещали, кто не мог — писал. А папа бредил: «Слушайте меня, люди космоса!» И читал стихи. Сбивался, опять читал: «Мир огромив мощью голоса, иду двадцатидвухлетний». Я поправляю: «...красивый, двадцатидвухлетний». Он снова опускает «красивый». Потом вспоминает что-то из современной поэзии, морщится: «Что за бессмысленные слова, плоские. Кто мог так написать?..»

Вспоминал имена писателей. «Андреев — хороший писатель, но Бунин, Бунин!..» Вдруг в бреду объяснял: «Бабушка моя много лет была у Пушкина в услужении, и звали ее Арина Родионовна». У папы бабушка Авдотья Павловна действительно была сказочницей, известной на всю округу.

И листал, листал в бреду страницы. Подносил руку к губам и потом перед собой высоко в воздухе переворачивал какие-то страницы указательным пальцем, плавно передвигал руку от одной воображаемой страницы к другой...

* * *

Папа был человеком мгновенных решений. Загорится что-нибудь сделать, куда-нибудь пойти — все бросает. Умел и других заражать, зажигать своей страстью. Но, если пыл его остынет, пройдет заинтересованность, то ничем его не сдвинешь.

Однажды летом сидели мы на террасе, завтракали, болтали. Кто-то размечтался о Ленинграде. «А не поехать ли нам в Ленинград?!» — сам удивляясь своему предложению, спросил папа. Мы мгновенно собрались и до обеда выехали на машине всей семьей в Ленинград. Жара была невыносимая, машина не подготовлена, и ехали мы долго и с приключениями. По дороге лопались покрышки, ремонтировались. Выяснилось, что мы самого необходимого не взяли с собой. Но все равно мы уже не возвращались. Через сто-сто пятьдесят километров останавливались отдохнуть, размяться. Растягивались на траве... Папа из шофера снова превращался только в папу. В дороге он нам говорил: «Я — ваш шофер». В дороге мама сидела впереди и читала что-нибудь папе или записывала в тетрадку что-нибудь удачные мысли или просто показания спидометра. Иногда мама сменяла отца за рулем.

Водил отец машину превосходно. Реакция водителя моментальная. Свернет, объедет, затормозит вовремя, а кажется, что он занят разговором с попутчиком — и только. Нет, весь настороже. Скорость любил до азарта. Буквально вперегонки гонялся с таксистами и водителями других машин. Сколько раз я пряталась за спинку сиденья, зажмуриле глаза, думая, что катастрофа неизбежна. Но за много лет се так и не было. И мы уже никогда не боялись, доверялись папе, не сомневались в его умении. Хотя положения бывали разные: и рискованные и забавные.

Правда, один случай был, когда он отвлекся не на шутку. Ехал он с четырехлетним Сашей где-то в горах Кавказа. Дорога вилась серпантинном. Скорость, видимо, была приличной. Вдруг Саша закричал: «Папа, медведи!» Какие медведи? Откуда? Но отец — страстный охотник. Он только ахнул: «Где? Где?» — и оглянулся. Машина свалилась в канаву, а медведи оказались обыкновенной дорожной скульптурой.

Помню, мы ехали по Якиманке. Папа, мама и нас четверо сзади. Отец, чтобы позабавить нас, начал «вилять» машиной, повел зигзагами. Тут же милицейский свисток. Папа, смеясь и извиняясь, показывал нас, детей, просил милиционера простить его. Милиционер посмотрел на права, на нас, детей, понял, что папа не пил, и с улыбкой и приказанием больше так не делать

отпустил нас. После удачного разговора с милиционером к папе возвращалось хорошее настроение, он радовался, как провинившийся мальчишка, которого решили не ставить в угол.

Папа не мог пройти, проехать мимо валяющихся на дороге гайки, болта. Обязательно поднимал и приносил в гараж — когда-нибудь пригодится. Даже если болт от грузовика, а не от легковой машины — все равно, на всякий случай. В гараже у него был идеальный порядок. На полках лежало множество неожиданных вещей, подобно тому, как он записывал в книжки и на карточки найденные им слова, характеры, сюжеты... А у входа в гараж, конечно, была прибита подкова.

Бывало, что он попадал в аварии. Как-то удачно «прыгнул» в снежный наст, забыв повернуть направо. Пролетел напрямик, приземлился в поле на четыре колеса. Позвонил домой: «Матушка, я жив!» Аварии и те были у него необычными. У Белорусского вокзала он сбил человека, который буквально «бросился» ему под машину. Отец тогда только начинал свою шоферскую жизнь. Пострадавшего положили в больницу, началось следствие. Отец переживал, говорят, ужасно. Шутка ли — человека сбить. И вдруг пострадавший исчез. Выяснилось, что он попал под папину машину, бежав из тюрьмы.

Однажды у отца отобрали права, и он целый год ездил без прав. Все это время был чрезвычайно осторожен за рулем, правила соблюдал безукоризненно. Как-то мы ждали зеленого света на улице Герцена немного пониже консерватории. Но солнце отсвечивало, кругом машин не было, только милиционер стоял, и нельзя было понять — зеленый свет или красный горит. И нельзя было, чтоб остановили — прав-то нет! Пришлось повернуть на Семашко вправо, и, объехав кругом, вернуться к Никитским воротам, и снова повернуть на Герцена. Опять этот перекресток, и снова та же ситуация. Так мы и сворачивали несколько раз, и кружили на одном месте.

Боялся папа милицейских свистков невероятно. Каждый раз, когда его машину свистком прибывали к тротуару, он весь настораживался, соображал, в чем провинился, как выкручиваться. В этом ему помогал значок лауреата Государственной премии. Значок был

прикреплен к пиджаку, который был у него всегда в машине. Вылезет папа из машины, весь перепуганный, наденет спасительный пиджак и уже более спокойно и уверенно, важно идет навстречу неприятному разговору. Если дело обходилось только страхом, а не проколом в талоне, обратно он бежал довольный и потом, смеясь, рассказывал о милиционерах, как они любят неторопливо, с начальническим видом посмотреть все карточки, нотацию почитать.

Однажды остановил его милиционер на Ново-Арбатском мосту. Перед этим папа был в очень хорошем настроении, и промах был совершенно неожиданным. Свисток! И вот он с безнадежным видом, не надев даже пиджака с медалью, пошел объясняться. Милиционер не успел спросить у него документы, рта не смог раскрыть, только козырнул. Папа жаловался ему обиженно, страстно, отчаянно жестикулируя: «Я ничего в жизни не боюсь. Я — писатель. Я только вас всю жизнь боюсь, дрожу перед вами, да что же это такое! За что!?»

Папа вернулся, сел за руль молча. Мы поехали. Потом он удивленно, недоумевая, сказал про случившееся: «Отпустил!.. Поверил!..»

В одном из писем он сообщает: «Сегодня был у самого министра общественного порядка. Права вернули. Разговор был, что для меня самое важное, не обидным».

Наше детство прошло при машинах. Папа вставляет ключи, заводит мотор: «Ну, поехали!» — говорит он, прогревая машину. «Нет, еще не поехали», — отвечаю я, так как машина еще стоит. Папа смеется. А в дороге мы играем в слова, придумывая на какую-нибудь букву, и поем: «Летят перелетные птицы в осенней дали голубой». Все поем: и мы, дети, и папа, и мама. Много мы объездили на машине с папой. И Прибалтику, и Крым, и Кавказ... Иногда останавливались прямо посередине какой-нибудь площади, и нас принимали за цирк, иногда в темноте мы выбирали местом ночлега кладбище... Дороги из поворотов, и каждый поворот — весь юг — папа за рулем, мама — рядом, мы — сзади.

Из Кисловодска мама писала нам: «Отец говорит, что если бы у него под рукой была машина, то ника-

кие силы бы не удержали — махнул бы он к вам на ней и гнал бы, гнал без остановки». И через некоторое время папа пишет: «Дорогая Наташа, мы выезжаем в среду домой, на машине. Ждите нас — мы вас всех расцелуем. Ведь мы больше не можем без вас жить». И я представляю, с какой скоростью они мчались.

Когда продал машину, вдруг спохватился, сколько времени убил на нес. Жалел это время, когда можно было столько написать. Но потом мечтал приобрести «газик», чтобы можно было ездить по всем закоулкам своего Севера.

* * *

...Я приехала в больницу. Привезла фрукты. Папа вышел со мной пройтись, проводить меня. Он надел свое пальто на больничную пижаму. Мы прошли вдоль корпусов института, перешли по доскам разрытый участок земли — строили метро. Валялись бетонные плиты, развороченные куски глины. В субботу строителей не было, и мы медленно шли рядом, мирно разговаривая. Сколько раз вот так я, или мама, или кто-то из нашей семьи, из знакомых прогуливали папу по его просьбе. Он страдал бронхиальной астмой. Мы шли и говорили о новостях, происходящих за больничной стеной. Говорила в основном я, хотела отвлечь его от мыслей о болезни.

Мы вошли в универмаг. «Ну, что ты хочешь купить? Тебе наверняка что-нибудь надо!» Мы осматривали отделы. В обувном купили удобные мягкие тапочки для мамы, в которых она потом три месяца ухаживала за папой в больнице. В другом отделе мне понравился для папы большой шерстяной свитер — уютный, теплый. «Пап, померь!» — предложила я.

— Кто? Я? — рассеянно спросил он. — Мне он теперь ни к чему, — строго сказал папа, как будто обидевшись на мои слова. И, даже не посмотрев на свитер, отошел от прилавка, как от соблазна хотеть жить, жить...

В углу магазина, у окна, мы увидели зонтики. «Папа, я хочу зонтик! — сказала я, зная, что обрадую его своей просьбой. — У меня никогда в жизни не было зонтика». Я давно мечтала иметь зонтик. Мне казалось, что для женщины зонтик — нечто особое: эле-

гантное, какая-то деталь ее самой. Мы стали выбирать. Зонтики, как всегда, были полосатые и в клетку. Мы выбрали полосатый. Продавщица раскрыла его перед нами, повертела, и папа купил мне зонтик — свой последний подарок. Потом мы зашли в продовольственный магазин. Я пила сок, а папа вино. Выпили по стакану. Удивительная во всем этом чувствовалась мирность, наша причастность друг к другу, важность для каждого из нас этих незначительно внешних событий... Потом папа купил мне шоколадку, по старой памяти, как своей дочке, своему ребенку, которого надо побаловать.

Еще раньше бабушка объясняла мне смысл общения людей за едой. Она любила круглый стол, чтобы все сидели на равных правах. Она придавала значительность простому чаепитию: «Мы берем с тобой от одного куска масла, мы говорим с тобой, сидя за одним столом», — философствовала моя бабушка. Она говорила, что еда — это общение людей. Вот мы с папой сейчас так общались. Не обязательно говорить о великих, глубоких вещах — можно говорить о повседневном, а разговор будет глубоким. С некоторыми людьми интересно говорить о мелочах, и разговор будет значительным, а с некоторыми — почему-то неинтересно говорить о высоких материях...

Вдруг к отцу подошел незнакомый мужчина с портфелем: «Вы из больницы? — спросил он, глядя на панины пижамные брюки. — Прошу вас больше с территории больницы не выходить. Вы нарушаете дисциплину». Папа почтительно извинился, обещал, что больше этого не повторится. Мой непослушный папа не возражал, не сопротивлялся. По дороге он оправдывал врача или какого-то администратора, сделавшего ему замечание:

— Конечно, он прав. С него тоже требуют... — грустно говорил он.

Папа сдержал обещание: скоро его оперировали, и после этого он уже не вставал с постели.

Я вспомнила, как мы с ним заходили в другой магазин, в другом городе. Папа был в Новосибирске, в Академгородке, в командировке. Там он заболел, попал в больницу. Я прилетела к нему, а он выписался из больницы, потому что дочка приехала...

...В Академгородке после моего приезда папа наметил пойти со мной на концерт, но потом понял, что не в состоянии еще это сделать. Но мы пошли с ним в ресторан и сидели вдвоем за столиком, за тонкой перегородкой, как в отдельном кабинете, пили шампанское за мой приезд. Папа казался нескончаемо доброжелательным, любящим. Его настроение, забота, внимание ко мне были таковы, что казалось, будто я на юге, а не в Сибири. Мы были как заговорщики добра. На время исчезла даже моя настороженность ожидания, что сейчас он изменится, сейчас придется обидеться...

Жили мы с ним в гостинице, в одном номере. Мне поставили раскладушку. Из окна были видны сосны. Они росли в городе везде. Среди них жили люди. Деревья остались здесь от леса и были как ручные звери. Мы гуляли с папой по пустому городу среди чистеньких новых домов без подворотен, без проходных дворов. Среди домов, расставленных, как на макете, между березами и соснами. Заходили на почту, звонили домой в Москву, заходили в универмаг. Папа просил показать ему разные вещи, читал инструкции. Дома даже существовала шутка, когда дарили шоколад: «А инструкцию изучил?»

Подшли к отделу, где продаются проигрыватели, пластинки. Папа спросил про несколько разных радиол, сколько они стоят, какая лучше, часто ли бывают. Я же смотрела списки пластинок и несколько выбрала купить. Кажется, пластинка Гизекинга, «Мадригал». Папа спросил, стоит ли их здесь покупать, — может, есть в Москве? Потом отозвал меня в сторону и тихо попросил: «Узнай, нет ли у них пластинки «Сентиментальный вальс» Чайковского!» Я не сразу слышала, и он обиделся. Сконфуженно повторил. Он стеснялся спросить об этом продавщицу — незнакомо-го человека и того, что другие, чужие люди могут слышать название пластинки, которая его интересует. Я очень понимаю его. Когда музыка относится к чему-то твоему самому сокровенному, интимному, — боишься вслух произнести даже название пластинки, хотя кому придет в голову?.. Но когда ты вслух произнес его, кажется, что выдал себя и стоишь беззащитный перед чужими взглядами.

Пластинки не было.

Мы бродили по снежному городу и мечтали встретить настоящего академика с бородой. И не встретили. Ходили в гости к каким-то «членам-коррам». И везде папа радовался, представлял меня, гордясь, что у него вот уже какая взрослая дочь.

Нельзя сказать, что мы там не ссорились. Конечно, ссорились. Характеры у нас были похожими. Но была какая-то проникновенность, связующая нас. Мы гуляли. Ждали белок, где нам показали их ждать, ходили на море, смотрели на снежные крепости вокруг воды. Тут купаются «моржи»-академики. Ходили и говорили. Я не помню точно фраз, помню серьезность нашего разговора. Помню удивительное «состояние» нашей беседы. Как мы шли в ногу, так мы и говорили.

Помню, как он, насмешливый мой папа, плачет над глупой «Спящей красавицей» в театре. Еще ходили на «Варшавскую мелодию», ходили в клуб, в кино, ели, пили, говорили, виделись с кем-то и не виделись. Ходили на лекцию по теории относительности в университет к папиному знакомому.

Обратно мы летели на самолете. Сидели в креслах и читали. У каждого по книге. Я очень люблю смотреть в окно. Мы летели ясной морозной ночью. Звезд в небе видимо-невидимо. Звезды над нами, вокруг, под нами. Но из моего окна лучше всего было видно крыло самолета. Оно мешало, и папа шутил: «Хоть бы оно отвалилось...»

А когда прилетели в Москву, настроение у него уже изменилось. Ну и у меня, конечно.

* * *

Позвонила с радио редактор Левитанская. Сказала, что вечером будет передача о папе: «Длинная, на час, со стихами, с музыкой. Готовили передачу с любовью, с подъемом. Старались все». И папа ждал весь день этой передачи. Вечером оттягивал как можно дольше укол морфия. Но по радио передавали футбол. Гол за голом, потом второй тайм, и передачу о папе перенесли на другой день. Папа расстраивался, думал, что мы что-нибудь напутали, просил получше поискать программу.

Передача состоялась через несколько дней. Хоро-

шая передача, только уж очень итоговая. Или это только тогда казалось нам? Я плакала. Вел передачу Виктор Сергеевич Фогельсон, папин друг и редактор его книг. Он читал таким взволнованным, искренним голосом, словно хотел задержать что-то уходящее. Спасибо ему.

После радиопередачи приходили в палату больные, благодарили. Это было совсем незадолго до конца.

«Что мне тебе сделать? — спрашивал меня папа. — Ну, что я могу для тебя сделать?.. Ты входи чаще, уходи и часто входи — мне будет приятно».

«Что же мне делать? Что делать? — спрашивал он растерянно. — Я влюблен в свою дочь. Мать, я влюблен в собственную дочь».

Я попросила подарить мне братину, которую он привез из Архангельска. Папа просил: «Конечно же, возьми. Может быть, еще что-нибудь вспомнишь, захочешь». Такая малость — подарок и так много значит в человеческих отношениях. Тем более подарок по силам: ему — подарить, мне — принять. О таком он просил, такой я просила.

И говорил: «Когда приезжаешь в деревню, надо брать с собой игрушки. Пусть копеечные, но много, чтобы всем детишкам хватило. Всегда приезжаешь, а они окружают тебя и ждут, что ты им что-нибудь подаришь. Сколько радости доставляет им каждая безделушка!»

Так мы и сделали. Когда прилетели в Никольск хоронить папу, привезли с собой мешок игрушек для деревенских ребятишек как подарок от Яшина. И мешка сразу не стало, в один миг все куда-то растащили — торжественного вручения не состоялось.

Но пока еще папа жив. Он жив, и что бы ни говорили, и как бы нас ни готовили к неизбежному концу — он жив, сию секунду жив, и ничего другого представить нельзя. Каждое мгновение даровано. Я помню, как была благодарна, что мне не сразу сказали, что мой брат умер. Мне сказали, что он еще жив, что за дверью врачи пытаются его спасти. Бессмысленная ложь. Интуитивно я сразу поняла, догадалась, что его уже нет. Мне подарили еще несколько секунд сознания, что он еще жив, есть, хотя я его уже не вижу и не увижу. Так теперь: как это ждать смерти?

«Не отдамся, не отдамся!» — стискивая зубы, сжимающая руки, твердит он. Просит положить его на землю. И, когда мама на минуту вышла из палаты и, вернувшись, увидела, что он спустил ноги с постели, она испугалась: «Что ты! Нельзя!» — и вернула их в прежнее положение. Но тут она поняла, сколько он потратил сил, чтобы спустить их, чего ему это стоило, и она так легко все разрушила...

Перед первой операцией папа держался стойко и, нам казалось, что он ничего не боится. Может, так и было. Но, когда мама в вестибюле дала ему нашу старую детскую игрушку — деревянного буратино, он крепко зажал ее в руке. Он стоял прямой, легкий, подтянутый. Пружинистый весь. Глаза очень строгие. Через день мы получили от него первую записку из послеоперационной. Написано папиной и не папиной рукой. От его четкого, стройного почерка ничего не осталось. Буквы наезжали друг на друга. Дрожащая линия. «Спасибо всем, кто пришел». Внизу прибавлено: «А мне и желудок вырезали». Потом его перевели в палату, и вроде было ничего первый день. Папа был горд, что основное — операция — позади, что оперировал сам Блохин, и обещал показать нам шов.

А потом начался озноб, температура, и после второй операции уже пустили маму в послеоперационную. Мама и меня крадучись провела к папе среди стеклянных колпаков, перегородок.

Я подошла к постели: он был в сознании, ему было до меня и не до меня. Я вспомнила, как мама сказала мне еще до операции, что это начало большой беды. Но все не доходило. Само собой тормозилось сознание. Теперь, после свидания с отцом, мама выводила меня обратно на лестницу и объясняла, как мне приготовить особенный бульон в бутылке, которым когда-то ее отец-врач поднимал тяжелейших больных. Где-то смутно я понимала, что дело не в бульоне, что он наверняка ни к чему, но мне дали возможность что-то делать, и я выскочила на дорогу как одержимая с заветной мечтой, с целью, со страстным желанием как можно скорее, как можно лучше сварить этот бульон. Скажи мне тогда: «Кончай тут, не разгибаясь, черпай воду из реки не переставая» — я бы, не задумываясь, стала исполнять все. Но было не так. Было:

«Беги туда, не знаю куда, принеси то — не знаю что». Ни я, никто не знал. И вдруг бульон. Была бы хоть капля веры, что это надо делать, что это поможет, облегчит, спасет...

«А я говорю — выздорови! А я говорю — живи! Заклинаю!» — упрямо, страстно повторяла я про себя. Если бы уметь зелье какое-нибудь приготовить — я бы заговорила, я бы заколдовала... Домой я уже не успевала. Я прибежала к нашим знакомым и в отчаянии начала рыдать. Меня трясло — это было первый раз тогда, первая реакция. На меня напала ясность безысходности, непоправимости, необратимости всего.

Через двадцать дней была третья операция. Много старых и новых знакомых звонили, говорили, что они — друзья, предлагали что-то сделать. Никто не знал, что делать. Приходили в больницу. После третьей операции папа попросил принести его сразу в палату — «домой». Его принесли при мне и маме. Пришел Фогельсон. Папа лежал с закрытыми глазами. И, стискивая зубы, губы, дрожал. Жуткий озноб. Он говорил — понять было трудно. Я старалась слушать и отвечала, но мама сказала: «Что ты! Он под наркозом!» Я говорила какие-то обычные, обыденные слова: «Папочка, потерпи! Скоро будет лучше!» Он, видимо, слышал. И сестры и врачи входили, говорили маме и ему: потерпите, потерпите! Я разобрала: «Все просят, все молят о терпении. А у меня его нет. Где его взять... терпение?» Он говорил медленно, трудно.

Потом не началось выздоровление. Началось что-то другое. Умирание? Не подходит. Не то слово. Хотя тело умирало. Но на какую высоту духа поднялся он за последние полтора месяца своего «умирания», как он изменился! Врачи и сестры говорили, что у них давно не было такого тяжелого больного. Он был весь расшит, раскрыт. Рана не затягивалась. Каждый день капельница. Пил пиво и всем больным советовал, считал, что помогает. Спрашивал меня шутя, когда я ему наливала пиво в поильник: «А пиво так и продавали с поильником?» Иногда просил что-нибудь попробовать, но вкуса не чувствовал. Огурец и хлеб казались ему одинаковыми.

Он радовался всем, кто приходил к нему. Но не любил, чтобы его целовали в лоб, как покойника. Не

любил цветы, которые ему приносили. Говорил, что это не заменит природы живой, растущей, распускающейся, что букеты — это имитация.

Никольчани привезли сосенку — маленькую, как веточка. Сосенка росла среди мха и брусничника, в клетке, специально сплетенной папиными земляками. Позже сосну пересадили у нас на даче, где она и теперь растет.

Многие люди добром откликнулись на просьбы отца. Мы не могли достать кумыс, который он попросил, и написали в Уфу писателю Хакимову. Он тут же с летчиками переслал кумыс. Какая это была радость для папы, несмотря на то, что пить его он не смог.

За несколько дней до смерти мама с Мишей повернули его кровать лицом к окну. Он долго смотрел на церковь Вознесения в Коломенском. Далеко, на берегу реки, она все «возносится» уже сколько столетий. «Ну, довольно», — сказал папа, попрощавшись с ней. И снова его повернули лицом к двери. Каждое утро он говорил маме: «Открой скорей дверь, там, наверное, уже пришли мои дети». Некоторых людей он особенно ждал. Одних дождался, другие пришли к концу...

Приезжал к папе в больницу Аркадий Исаакович Райкин. Они были знакомы уже несколько лет. Зимой, перед папиной болезнью, оба участвовали в декаде литературы и искусства в Вильнюсе. Папа рассказывал потом, как они небольшой компанией зашли в ночной бар и как все присутствовавшие там люди начали скандировать: «Райкин, Райкин, Райкин!»

В нашей семье кто-нибудь услышит по радио передачу и крикнет: «Райкин! Тихо!» — и все бросают дела, несутся к приемнику, и хохочут, и показывают друг другу, чтобы тише смеялись, а то не слышно. Папа смеялся от души, радостно, покачивая головой, хлопая себя по коленке.

Райкин был у нас в семье кумиром. Мишка, младший брат, знал наизусть все программы его театра и копировал все интонации Райкина.

И вот я сижу в маленьком автобусе, показываю, как проехать к больнице. В автобусе Райкин, Лиходеев, шофер и я. Не первый раз я видела так близко Райкина, и все равно от неожиданности растерялась, и мы сначала не туда поехали. Помимо воли, я сидела улы-

баюющаяся... Казалось, что Райкин своей серьезностью надувает, хочет одурачить тебя, притворяется... А он спокойно говорит про погоду:

— Погода какая-то ненормальная: то дождь, то снег. — Спрашивает шофера: — Сережа, что это мотор так странно работает?

Перед красным светофором стоящие около нас троллейбус и автобус буквально наскренились в нашу сторону. Люди стучали в окна, что-то кричали, махали руками. Все улыбались. Из сердитых и угрюмых лица становились доброжелательными, у людей менялось настроение.

В больнице никакого пропуска не понадобилось. В вестибюле люди, помимо своей воли, прямо уставившись на Райкина, говорили: «Ой, Райкин!»

Папе тогда еще не делали операцию, и трудно было поверить, что он так серьезно болен. Разговор был полшутливый. Под любыми предложениями заходили врачи, сестры, задавали какие-то вопросы. Папа угощал конфетами. Я съела конфету. Райкин говорит: «Шоколад надо больным!» Папа: «А у нее шоколад больное место». Про какого-то знакомого вспомнили. Райкин говорит: «Да, да. Все есть — личности нет». Я вздыхаю: «А иногда — наоборот: личность есть, а сделать ничего не может». — «Да, да», — соглашается Райкин. Вошла медсестра. Открывая дверь, она говорила кому-то в коридоре: «Не все сразу, — и обратилась к Райкину: — Здравствуйте! У вас нет лишней посуды?» Мы все стали оглядывать палату: какой посуды?.. Сестра вышла. Вошел серьезного вида мужчина в белом халате и у двери, стесняясь, спросил: «Вопросов к дежурному врачу не будет? Все есть?» Папа чувствовал себя героем. Он завел книгу почетных посетителей ракового корпуса. Леонид Лиходеев и Райкин первыми расписались в ней. Аркадий Исаакович написал, импровизируя: «Пондравилось нам это заведение, хороший вид из окна. Больные выглядят как здоровые, а здоровые как больные. Побольше бы таких заведений. Почетный посетитель № 2».

Следующее посещение было печальным. Папу уже не один раз оперировали. Райкин читал юмористический рассказ. Но никому не хотелось смеяться, скорее наоборот.

Приходили друзья. Папа рассматривал рисунки на женских платьях, подробно видел все лица, прически, сережки — все то, что находилось перед его глазами. И попросил себе белую профессорскую шапочку. Он начинал читать стихи, сбивался, путал, стонал. Мы принесли ему проигрыватель. Из угла палаты слышался звон ростовских колоколов. Как он радовался музыке! Как-то за стеной из холла, где стоял телевизор и больные смотрели фильм, он услышал музыку, от которой у него просветлело лицо. Жестом руки папа попросил нас всех быть потише.

Врачи приходили в палату, а в коридоре они прятались от мамы. Что они могли ей сказать? Многие из них стали папиными друзьями, и тем страшнее им было знать, что эта дружба недолгая. Каждый день к отцу приходил врач, ставивший ему капельницу. У больного все руки исколоты, пальцы, и уже некуда колоть, но надо. И вот папа по-детски, наивно начинал задабривать этого врача, располагать его к себе, шутить с ним: «Какой у вас сегодня красивый галстук, и рубашка эта вам к лицу...»

А однажды, когда мама вышла из палаты звонить, папа умолял медсестру оставить на столе веревку, забыть... Он измучился.

Наклоняются над ним сестры — он видит, кто красив и опрятен. И сам очень следит за собой. Он просит дать ему прополоскать рот, просит подстричь его. В последний вечер я подстригала ему ногти, почти не дотрагиваясь, а он не мог терпеть: «Разве так можно! Больно!»

Его перевязывают, а он, чтобы отвлечься, громко читает наизусть «Медного всадника», и врачи и сестры слушают. А после перевязки говорит: «От стихов, как от боли, никуда уйти не могу».

И он опять листал в бреду страницы. Высоко поднимал руку, очерчивая ею круг, подносил руку к губам и высоко в воздухе переворачивал страницу указательным пальцем, плавно передвигая руку от одной воздушной страницы к другой. Листал страницы какой-то одному ему ведомой книги, которая лежала у него на коленях в воображении. Может быть, той самой последней главы, которой так и не написал.

«Ты что, не видела, как русские мужики умира-

ют!» — стиснув зубы, сказал он мне с гордостью, что он русский, что мужик, сказал с ненавистью к неправде моих слов: «Ничего, папа, все будет хорошо».

И он опять стонал, и уходил, уходил... И-и... и-и-и. Пронзительно-приглушенный привычный звук. Он ускользал от своего сознания, от нас...

«...Еду, еду — следу нету; еду, еду...» — он забывался после укола и возвращался к нам снова...

Его перевязывают на ночь, на последнюю ночь. Он раскрыт, с ним сестра и мама. Я смотрю в окно. Уже темнеет, и видно отражение. Комната в стекле видна четче, чем улица. Внизу, на темной траве, странные белые яблони. Цветут. Растопырены ветки, и где-то внизу — пять этажей вниз — белые цветы как цель.

* * *

Уже отметили сорок дней. Скоро институт, занятия. Надо куда-нибудь деться, уехать. Еще когда был жив папа, один из наших знакомых — летчик предложил переправить меня на Камчатку. Мой сокурсник, Миша, улетел в Петропавловск-Камчатский к родителям и обещал прислать мне вызов. Такое стечение обстоятельств дело случая. Я рассказала папе. Ему только что передали в больницу письмо и книгу В. Пескова «Край света». Мама читала ее иногда папе, а это было его последнее путешествие. Когда же я загорелась желанием поехать на Камчатку, папа сказал: «Так можно всю жизнь куда-то ехать, и всегда останется то, чего ты еще не видела, где еще не была...»

И все-таки после смерти папы мне так захотелось на Камчатку, к океану, к гейзерам. А ведь полгода назад мне не было до нее никакого дела. Теперь казалось, что только там я смогу пережить все случившееся, природа будет со мной заодно, поможет.

И вот звонок: «Москва, Москва, вызывает Петропавловск». Я, как в бреду, слушаю. За тысячи километров голос:

— Здравствуйте, я — Мишин папа.

— Добрый вечер!

— Доброе утро! Вы приезжайте!

— Спасибо, я попробую!

Я чувствую, что, если я не приеду в Петропавловск,

я не смогу жить. Чувствую, что только туда надо и могу ехать. Иначе никогда не спать мне с себя этой навалившейся тяжести. У меня нет сил жить: нет человека, который скажет: «Здравствуйте, я — Наташин папа». Или: «Познакомьтесь — моя дочь!» Меня измучили сны: папино лицо на подушке.

В Москве — прямые, черные, мокрые стволы деревьев торчат из вороха опавших желтых листьев. Идешь в обуви, в пальто, в которых с папой ходила. Зонтик он мне больной уже выбирал. Платок подарил. Свитер. Ему казалось, что он очень красивый, потому что красный. Папа! Где он! Идет ли со мной по ту сторону улицы. Зыбкость всего. Папа, папа, как одиноко, гордо ты жил. Ты — самородок, силища, личность. Как хотел однажды доказать мне, что у тебя много друзей — звонил, звал на мой день рождения. Не то что бахвальство, а своего рода проверка, есть ли они, друзья. Можно подумать, что если человек согласился прийти к тебе на день рождения, то это гарантия, что он друг. Но тебя и это радозало.

Последний раз мы гуляли с тобой в Москве. Я украла тебя из больницы. Привезла из дома костюм, спрятала пижаму, и мы сели в такси, поехали в Дом композитора. Там был концерт Мишиного класса. И Миша наш играл на рояле. После концерта папа был очень встревожен за Мишино будущее, за правильность выбранной им профессии. Говорил, как надо работать. После концерта все расстроились. Папа кричал, был очень сердит, обеспокоен. И мы с ним остались вдвоем, долго шли пешком, потом сели в машину.

По дороге на красном свете к нам в такси подсел круглый человек-колобок. Поэт. Он поздоровался с папой и начал говорить о своих болезнях, о санатории, о горах, куда он едет на днях. Папа сказал, что тоже болен, что у него аппендицит.

— Тоже лечить надо! — сказал колобок и выкатился.

Последний раз. Все в последний раз.

И теперь, если бываешь в местах, в которых ты не был с папой, но знаешь, что он здесь был раньше, до тебя, или без тебя, или просто не был, но мог быть, все равно бродишь, как будто вспомнил его, как будто с ним.

И на Камчатке. Удивлена. Ошеломлена. Долина гейзеров произвела на меня впечатление больной земли. Везде дымит, кипит, скворчит, булькает. Отовсюду пар, водопады. Сто тысяч цветов у земли. Глина вся горячая, цветная невероятно, как будто тут жила колония художников, и везде побросали палитры, и убежали. Первый источник, встречающий нас в долине, — «сердечная рана». В горе полукруглое отверстие, как в русской печке, и из него порциями вытекает красная, совсем красная жидкость и растекается. Равномерное биение, хриплый звук. Глина разноцветная в пару — булькает, хлюпает, чавкает. Земля нервничает, сердится, изливает. Раны земли — трещины. Розоватые, лиловатые, серые — цвета переходящие, переводные. Ржавые цвета, да еще осень, и водопад с тридцати метров в три ручья падает. Природа плачет, так плачет! Кажется, что здесь у земли не зажило, здесь у нее болит. Водопад, а внизу струя шипящего пара, умиряет, утешает. А вечером на долину наступает туман, окружает ее со всех сторон.

И снова папа снится. Как бы живой. Просит что-то поправить ему. Видно, трудно примириться ему и нам, что он умер. А я в его спортивном костюме хожу. Свитер чуть порвался. Раньше ужас нападал — папа заругается. Теперь, наоборот, ужас оттого, что никто не обратит внимания на дырку, не заругается.

И здесь горы только. Предположение, что это кратер вулкана. Земля уже беснуется, стонет. Печки, как из сказок, пышущие, клокочущие пасти драконов. Может быть, здесь где-то есть живая и мертвая вода?..

Вокруг мощь и дикость, диковинность гор, водопадов, лесов. Заяц выбежал на дорогу, куропатка из-под ног вылетела, медведь облизал консервную банку от ужина. Природа доверчива, как девочка.

Удивительно знал и любил природу отец. Идешь с ним по лесу. Вдруг он неожиданно нырнет вглубь и манит нас: гнездо нашел или гриб. Или вдруг птица какая с шумом вылетит из-под ног. Смолу собирал с елок пожевать. Сначала сам пробовал, готовил и нам самое вкусное отдавал. В честь Мишиного дня рождения восемь огромных костров зажег в лесу. Утром на даче, мы еще спим, нежимся в постели, а он уже с грибами из леса пришел, с ягодами, с сухими дровами.

Спим на берегу океана. Чайки стонут, волны километровые ярусами обрушиваются на берег.

Просыпаюсь с ощущением величия и силы духа папиного в нас, в нашей семье. Хочу обрести свою силу, мой дух. Горы, помогите мне! Земля исстрадалась. Ах, как трудно, как больно, как сладко. Помоги, земля! Я вижу, как ты страдаешь, — он не видел тебя такую.

Вулканы снежные, огромные, в складках. Земля — тундра, переливается. Океан живой, могучий, и его однообразие и есть самое огромное разнообразие. Он слишком велик, все время чувствуешь его необъятность, океанность. Здесь все другого масштаба: горы, деревья, волны, луна выкатывается над океаном. Такой луны нигде нет. Рыба, чайки — все огромное.

Как это страшно умереть, не успев выполнить задуманного.

Папа, я встретила здесь твои страдания, твое величие, я встретила тебя. У меня отстоялось к тебе отношение.

«Нужен ли я тебе? Нужна ли моя любовь тебе?» — спрашиваешь ты.

Я только этим и живу. Ты пришел в мою жизнь как необходимость. И мне ясно, что это на всю жизнь. Время проходит, твоя душа оживает во мне, становится все ближе, подступает. А моя любовь тебе нужна? Ты умер, и я осталась с этой любовью, как с маленьким ребенком на руках...